Слово и дело. Книга вторая. Мои любезные конфиденты. Том 4

Автор:
Валентин Пикуль

Слово и дело. Книга вторая. Мои любезные конфиденты. Том 4

Валентин Саввич Пикуль

Слово и дело #2

Роман В.С. Пикуля «Слово и дело» состоит из двух книг: «Царица престрашного зраку» и «Мои любезные конфиденты». События, описываемые в романе, относятся к эпохе дворцовых переворотов XVIII века, прежде всего к периоду царствования императрицы Анны Иоанновны. Роман передает весь драматизм борьбы патриотически настроенных русских людей против засилья иноземцев во главе с могущественным фаворитом царицы герцогом Бироном, против разграбления богатств России.

Книга «Мои любезные конфиденты» разделена издательством на две части. Во второй части описаны следующие драматические события политической истории России: дело Волынского, смерть Анны Кровавой, короткий период регентства Бирона и конец бироновщины, правление бесцветной Анны Леопольдовны и, наконец, переворот, совершенный Елизаветой Петровной.

Валентин Пикуль

Слово и дело. Книга вторая. Мои любезные конфиденты. Том 4

© Пикуль В.С., наследники, 2007

© ООО «Издательство «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

Летопись четвертая. Конфиденты

О! Гибели день близок вам;

И быть чему, стоит уж там –

Тем движете, его вы сами…

Василий Тредиаковский

Меня объял чужой народ,

В пучине я погряз глубокой…

Избавь меня от хищных рук

И от чужих народов власти,

Их речь полна тщеты, напасти…

Михайла Ломоносов

Глава первая

Недавно в целях фискальных, как это повелось с татаро-монгольского ига, провели на Руси перепись населения. В стране проживали тогда 10 893 188

человек, из числа коих 8 миллионов были крестьянами или бобылями. Мужчин насчитали на четверть миллиона больше женщин, отчего, надо полагать, жениться в те времени было не так-то легко!

Чем дальше от столицы, тем оживленнее и шумливее были города русские. Провинция, подалече от властей, жила бойкой и деловой жизнью. Здесь и свадьбы играли повеселее.

Какие же города были самыми населенными в царствование «царицы престрашного зраку»? Москва или… Петербург?

Даже сравнивать их нельзя с Рязанью или Ярославлем, площади которых кишмя кишели народом. А Первопрестольная по числу жителей занимала лишь четвертое место в ряду иных городов России.

Петербург… Ну что такое Петербург?

Козявка!

Зато вот Клин, Великие Луки, Алатырь, Нерехта, Козельск, Вязьма, Переславль-Залесский, Муром и Суздаль – вот это города! Каждый из них имел гораздо больше населения, нежели чиновная столица империи, где жизнь была во много раз дороже жизни в провинции. И уж, конечно, унылому Санкт-Петербургу было никак не угнаться за полнокровной, многодетной и лихой красавицей Вологдой…

Из одиннадцати миллионов россиян, как показала та перепись, дворян было всего около полумиллиона. Лишь немногие из них кое-как сводили концы с концами, остальные едва пробивались службою, и высший гнет над собою шляхетство перекладывало на плечи своих крепостных… Будто египетская пирамида вырастала над Россией храмина подневольного рабства для всех россиян, а на самом верху ее посверкивала корона императрицы, вступавшей в кризис своей жизни.

…

Забрезжил над Россией год 1739-й, в котором Анне Иоанновне исполнилось 46 лет. Сколько было у нее любовников – Михаил Бестужев-Рюмин, принц Мориц Саксонский, Густав Левенвольде, князь Василий Лукич Долгорукий и прочие, но только Бирон сумел властно и до конца заполонить ее сердце. С возрастом еще сильнее привязалась она к герцогу и детям его.

Зимний дворец был только резиденцией для нее, а любила обитать в Летнем, куда и Бирона с семейством перетащила. Теперь два герба украшали фронтон – империи Российской и герцогства Курляндского. Бирон, слабость императрицы подметив, усилил к ней ласки и внимание. Благодарная за это, Анна Иоанновна любила его со всем пылом женщины, почуявшей канун старости. Привыкла она за стол с семьей герцога садиться, вникала в мелкие заботы о детях. Вне престола Анна Иоанновна становилась хлопотливой матерью и рачительной хозяйкой. Бирон теперь одну ее почти не оставлял. Если же приходилось отлучаться, он поручал императрицу наблюдению шпионов своих. А самым главным шпионом была его жена-герцогиня; горбатая уродина понимала, что все величие и все злато проистекает от благоволения Анны Иоанновны к ее мужу. Потому Биронша эти отношения берегла…

И часто бухалась царица перед киотами в молитвах:

– Господи, не прогневайся на мя, грешную. Узри тягости мои и дай послабления… обнадежь… вразуми… не брось мя!

В спальне царицы – шкатулка, а в ней, как священная реликвия государства, лежала борода Тимофея Архипыча; еще не забылись выкрики его истошные: «Дин-дон, дин-дон… царь Иван Василич!» Умный был мужик Архипыч и по косточкам царицу раскладывал. Всю жизнь между благовестом церковным и лютостью Иоанна Грозного она проводила. От матери своей, вечно пьяной садистки Прасковьи Салтыковой, унаследовала Анна Иоанновна любовь к мучениям людским. А от деда, царя Алексея Михайловича, перешла к ней страсть к одеждам пышным, к беседам с шутами и монахами; от него же возлюбила и охоту со стрельбой, как средство к убийству чужой, беззащитной жизни…

Средь умных людей Анна Иоанновна скучала. Зато всегда ей было хорошо среди конюхов, судомоек, калмычек, сказочниц, юродивых, потрясуний, скоморохов, портных и ювелиров. Скворцы ученые и попугаи говорящие дополняли ее компанию. А двор царицы был роскошен, страшный двор и сладкий двор, от него

сыпались казни, но проливались и милости. Анна Иоанновна уронила во мнении народа Сенат и коллегии, но зато подняла двор, который ошеломлял даже тех, кто бывал в Версале. И чтобы хоть прикоснуться к лукавому сиянию двора, вельможи шли на любую подлость… За стенами дворца царского – грабежи и правежи, разбои и пьянство, темнота и болезни повальные; там бушуют во мраке суеверия самозванцы, пророки, колдуны, лжесвидетели, «бабы потворенные» (то есть доступные), нищета и стенания. Но зато вот здесь – ах, благодать, и стоны наружные заглушались в хоре скрипок музыкой Франческо Арайя!

Через расходы на содержание двора Анна Иоанновна разоряла страну и народ русский. А дворяне, ко двору попав, начинали себя расточать, вгоняя крепостных в полное оскудение. Еще в недавние времена бояре завещали одежду свою в наследство сыну, от сына она к внуку переходила, служа поколениям. В сговорных бумагах к свадьбе не гнушались дворяне перечислять порты хлопчатые, полотенца холстинные, ложки оловянные; огарок свечной не выкидывали; чистый листочек бумажки берегли свято. При дворе же Анны Иоанновны даже платье нельзя было во второй раз надеть – его выбрасывали, заводили новое; свечи палили нещадно, так что и печек не надо; портные и парикмахеры, поработав в Петербурге полгода, увозили за границу целые состояния…

Миних однажды при дворе воскликнул:

– Расширьте ворота дворцовые, ибо в них дамы застряли и не могут через них деревни свои протащить!

Прав он был: убор иногда стоил сорока деревень. А Биронша несла на своих одеждах драгоценностей сразу на несколько миллионов экю. При дворе Анны Иоанновны русский дворянин впервые прослышал, что есть такая зверюга страшная – мода. В жестокой схватке боролись во дворце две моды. Первая исходила от самого Бирона, который обожал нежно-пастельные тона – от розового до небесного, а Рейнгольд Левенвольде стоял на том, что одежда мужчины должна быть обшита чистым золотом… В любом случае, какой ты моде ни следуй, все равно уплывут твои денежки к французам!

Но иностранцев, попавших ко двору Анны Иоанновны, внешним блеском было не обмануть. Они замечали, что на пальцах женщин много бриллиантов, зато под ногтями у них черно от грязи. Если роскошно платье статс-дамы, то шея у нее давно не мыта. Покрой одежд был уродлив. Бывало платье и хорошо, но в танце

обнажались из-под него голые ноги (на чулки денег уже не хватило). Правила омовений суточных женщинами не соблюдались, а дурные запахи от тел своих они заглушали обилием крепких духов. Почти все люди тогда переболели оспой, и корявины на лицах красавицы густо шпаклевали румянами. Золота и серебра на столах было очень много, но руки иностранцев прилипали к посуде, плохо отмытой. Однако вся эта грязь обильно покрывалась алмазами, яхонтами, рубинами, бирюзою, сапфирами; все неустройство жизни русской застилали при дворе парчой хрустящей, шелками и муаром, поверх драгоценностей дивно сверкали сибирские меха…

А надо всем этим показным величием, всем повелевая, всех устрашая, господствовал владыка истинный – кнут!

…

Кнут на Руси – издавна предмет государственный, в законности он – доказатель вины наиглавнейший…

Молодых палачей брали на выучку палачи старые:

– Слушь! Поначалу ты кнут между двумя кирпичами прокатай. Затем дегтем его промасли. На улицу с кнутом выбеги и как следует в пыли дорожной его обваляй. Концы трехвостки завей барашком. В молоке стельной коровы кнут размочи. На солнце высуши. Тогда концы, на ветерке усохнув, станут – что когти звериные… Осознал?

– Благодарю за науку… осознал. В самый это раз!

Учеба палаческая трудная. Мастерство пытошное немало секретов имеет. Сначала учатся без участия человека. Возьмут курицу, на лапах ее следки намелят и по избе курицу гулять пустят. Курица наследит мелом – каждый шаг в три черточки. Палач должен так ударить об пол, чтобы тройное охвостье плетки его легло точно в тройной следок курицы.

– Собери все следки на плеть! – учат старые палачи, и ученик, взмыленный от усердия, достигает такого опыта, что после ударов его плети пол в избе становится чистым…

Тогда старый палач ухмыльнется и велит ученику поймать муху. А мухе пойманной крылья обрывают. И кладут ее на лавку, по которой она, уже бескрылая, очумело ползает зигзагами скорыми.

– Стебай муху вмах, но так, чтобы жива осталась!

Это трудно. Ударить по мухе надо вроде бы очень сильно. А на самом деле удар обязан быть нежен, как дуновение ветерка. Чтобы муха, жива и невредима, дальше по лавке ползала. Когда и это совершенство достигнуто, старый палач говорит молодому:

– А ныне задача тебе самая простецкая. Вот кладу перед тобой доску, и ты ее с единого удара переломи пополам.

И доска с треском ломается (так учатся ломать человеку кнутом позвоночник). Есть еще тайны в мастерстве этом. Можно так выстебать жертву, что весь эшафот кровью зальет, а сама жертва – хоть бы что: встанет из-под кнута и возликует. Это удары легкие, только кожу трогающие. А можно и столь усердно бить, что мясо со спины кусками полетит от эшафота в толпу зрителей, а через рваное тело будут розово просвечивать кости людские.

Велика та наука кнутобойская – древнейшая на Руси!

Палачи даже спят, с кнутом не расставаясь. Ибо они суеверны, а колдуны способны кнут их заворожить, чтобы он потерял свою страшную силу. Мудрые старики на Руси знают: если кнут всю ночь подряд парить на печи в отрубях пшеничных, тогда он становится шелковым. Но палачи спят чутко – у них кнута не скрадешь!

И твердо стоят они на эшафотах империи Российской, красуясь рубахами алыми, пошитыми для них из казны царской. По давней традиции палачи не держат кнут в руке, а зажимают его между ног. Вот уже ведут к ним преступника. Кнут выдвигается между ног все дальше и дальше, подталкиваемый рукою палача сзади… Преступник возведен на эшафот и разложен.

Взмах! Только ахнул народ в ужасе…

И видно, как разомкнулись в полете хвосты кнута. Удар стремителен, как молнии, и в мгновение ока все три хвоста собрались воедино – в морковку. Следует выкрик:

– Берегись – ожгу!

Так начинается истязание.

Государство кнутом начинает доказывать людям, что человек постоянно не прав, а власть неизменно права будет…

Кнуты же, которые ныне в музеях хранятся, давно уже не страшны. За два столетия усохли они, превратились в мумии – это не кнуты, а жалкие хлястики. Таким кнутом даже кошки не высечь.

Глава вторая

Андрей Федорович Хрущов недавно в столицу из Сибири приехал, где он по горным делам при Татищеве состоял. Рода он был старинного, искусству инженерному учился в Голландии, был офицером флота, а в Сибири за рудными плавильнями наблюдал… Человек знающий! Приехал в Петербург, овдовев, с четырьмя малыми детишками на руках. Кабинет-министр встретил знакомца душевно, на дому его побывал; сам вдовец, Волынский по себе знал, как тяжело детишек малых тянуть без матери. За сиротами приглядывала сестра Хрущова – Марфа Федоровна, девица-перестарок, баба добрая. А над крыльцом дома хрущовского висел родовой герб «Саламандра» («свиреп зверок с простертыми крылиями, во огне бо живет несгораема Саламандра»).

– Может, и сгорю, – говорил Хрущов Волынскому. – Покуда Нюта моя жива была, я собою дорожился. А теперь ради дел высших готов и пострадать… Вижу! – говорил Хрущов. – Всю злость времени нашего вижу. Не по себе, так по другим чую… Шатает Россию, будто пьяную. То хмель дурной – кровавый! Быть бедам еще, но уже бесстрашен я к ним… Саламандра сама во огонь кидается!

Были они дальними свойственниками по Нарышкиным, и оттого приязнь дружбы родством умножалась. Волынский в доме конфидента много книг видел… французские, немецкие, голландские.

– Счастлив ты, – позавидовал он Хрущову, – что языки иные ведаешь. А я вот только по-русски читать способен. По секрету скажу, что ныне я занят писанием «Генерального проекта» о благоустройстве русском… О благе народа есть ли что давнее у тебя?

Хрущов стал перед ним сундуки открывать, а там – полно бумаг старинных. Немало там летописей и прадедовских хроник.

– Но есть одна книга, – сообщил, – которой днем с огнем не сыщешь. А знать бы ее тебе, Петрович, надобно… Не ты первый герой на Руси, который проекты разные пишет!

Посадил он Волынского в свои санки, повез прогуливать. Лошади бодро молотили копытами в наезженный наст. Через заброшенный сад Итальянский завернули к арсеналам части Литейной, от цехов пронесло жаром – там пушки отливали. Лошади вывернули санки на Выборгскую сторону – к госпиталям воинским. Ехали дальше, а бубенцы названивали к стуже морозной. Красное солнце медленно оплывало над затихшими к вечеру окраинами.

– Федорыч, куда везешь меня? Не повернуть ли нам?

– Повернуть всегда успеем… Ты погоди, – отвечал Хрущов.

Слева, на берегу Малой Невки, остался заводик сахарный. Завиднелось и Волчье поле, что тянулось аж до самой чухонской деревушки Охты; оттого оно Волчье, что при Петре I тут строителей Петербурга неглубоко закапывали; волки это пронюхали и ходили сюда стаями кормиться покойниками безродными… Выборгская сторона для человека вообще опасна: вкусив человечины, волки и на живых тут кидаются. Не доезжая до слободы батальона Синявина, Хрущов велел кучеру остановиться. Здесь под снегом одиноко стыл небогатый храм Сампсона-страннноприимца.

– На што ты завез меня в эку глушь?

– Молчи, Петрович, сейчас все узнаешь…

Церковка затихла, пустынная. Вокруг безмолвие, только от слободы казарменной побрехивали псы. Возле ограды стоял крест, уже надломленный ветрами, из-под снега торчала одна его верхушка.

– Это здесь, – сказал Хрущов, начав молиться. – Покоится тут Иван Посошков, а по батюшке – Тихоныч… Молись и ты за претерпения его немалые!

Рука Волынского, поднятая ко лбу, вдруг замерла:

– Посошков… А кто он такой?

– Мужик из Новгорода. Торговал на Москве кожами.

– Так зачем мне за помин души его маливаться?

– Молись крепче, Петрович, ибо Иван Тихоныч крепкий был россиянин. Правды всенародной желатель, начертал он от разума большую книжищу, «О скудости и богатстве» названную.

– Впервые слышу о книге такой.

– То-то! – сказал Хрущов. – И вся Россия не знает. Вот ты сейчас генеральное рассуждение сочиняешь о реформах системы нашей. А Посошков-то раньше тебя постиг, что экономика есть главнейшая вещь в государстве. Хотел он древнюю неправду Руси искоренить… Вот и лежит под нами, неправдою сам побежденный!

Волынский снег на могиле разгреб, приник к кресту:

– А недавно умер… Что же с ним приключилось?

– Не умер, а замучен в темницах Тайной канцелярии. Ты проекты, конечно, пописывай, но вокруг поглядывай: как бы не пропасть…

Дал он прочесть Волынскому книгу «О скудости и богатстве», кем-то от руки тайно переписанную. Посошков смело бросал упрек царю Петру I за то, что не дал тот народу четкого закона, а завалил Россию пудами своих указов, которые и так и эдак прочесть можно. Пораженный, думал над книгою: «Не за то ли и судили Посошкова, что он государей поучать стал? Но вот странно мне: ведь об этом же и я хочу в Кабинете толковать – закон един для всех, вот такой нужен…» И еще увлекло министра одно мнение Посошкова: как бы ни был умен и деятелен царь, все равно монархия по природе своей малоспособна для управления государством – в работе государственной необходимы все сословия, даже хлебопашцы!

– Смел ты, Иван Тихоныч! – призадумался Волынский. – Не с того ли ты и лег раньше времени на погосте Сампсоньевском?..

Не знал он тогда, что эта поездка к Сампсонию была пророческой. Волынскому суждено лежать по соседству с Посошковым под красным солнцем на стороне Выборгской, издалека будут лаять псы из слободы батальона Синявина.

…Сейчас этих мест не узнать.

…

Мало-помалу обрастал Волынский семьей своих конфидентов. По вечерам многие навещали министра… Вхож стал математик Ададуров, механик Ладыженский, архитектор Иван Бланк, захаживали на огонек асессоры по разным коллегиям, врачи и садовники, офицеры армейские и флотские. Правда, не все гости министра были искренни в беседах – иные липли к Волынскому, как к персоне могучей, ласки от него фаворной и выгод прихлебных себе жаждуя.

Артемий Петрович и сам сознавал, что такие конфиденты, как Соймонов и Еропкин, Ададуров и Хрущов, умнее его и чище помыслами; люди бескорыстные, они имели таланты, а он имел только фортуну завидную… Кубанцу честно признавался Волынский:

– Я ведь только мутовка, что масло попышнее взбивает. Придет срок, мутовку оближут и выбросят. А масло-то от меня останется и, дай бог, еще принесет пользу великую…

Скоро из Сибири нагрянул в Петербург и Василий Никитич Татищев, тоже заявился на дом к Волынскому, жаловался:

– Меня под суд отдают за воровство якобы. А я не воровал… только кормился! Говорят люди злые, будто я взятки брал, Оренбург перетащил на худое место. Герцог на меня злобится… Чтобы время проходило не зря, я теперь историю российскую сочиняю.

В кружке близких Волынского читал Татищев историю. Но от времен прошлых конфиденты в день сегодняшний обращались.

– Муки народа, – говорил Соймонов, – столь глубоко в тело вошли, что нужен хирург с ножиком, дабы вредную грыжу отрезал. Имеющий уши да слышит! Одно чаю: велик гнев в простонародье русском. Ударь клич – и полетят головы… Ох, покатятся!

Английский врач Белль д’Антермони, давний приятель Волынского, сосал трубку; закрыв глаза, слушал русских. Секретари Остермановы, Иван де ла Суда и Иогашка Эйхлер, оба холеные, в еде брезгливые, вилками в тарелках ковырялись, помалкивали; шпионы Волынского в Кабинете и по делам коллегии Иностранной, они умели молчать и слушать… Из-за стола поднялся Волынский:

– Это ты верно сказал, Федор Иваныч, только слова твои опасные. Коли в набат ударить, так народ и мне башку снесет. А я того, по слабости общечеловеческой, не желаю. Потому и говорю: перемены сверху надо делать, а низы до топора не доводить…

Ванюшка Поганкин робок был, но тут не смолчал.

– А все едино, – брякнул, – случись заваруха, от топора никто не убежит. Лес рубят – щепки летят… Тако!

Два архиерея, Стефан Псковский да Амвросий Вологодский, крестились при этом, по сторонам поглядывая: не донесет ли кто, вражья сила? А садовник Сурмин, плетьми от царицы уже драный, все на двери посматривал: не убежать ли пока не поздно?..

Белль д’Антермони выколотил пепел из погасшей трубки.

– Петрович, – спросил, – нет ли тут лишних?

– У меня все свои, – ответил Волынский.

Тогда врач показал глазами на Василия Кубанца.

– А раб твой? – спросил тихонько.

Но Волынский всех громогласно заверил:

– Раб и есть раб! Его дело – господину верно служить.

При этих словах маршалок взбил пальцами на груди своей жабо кружевное, поклонился конфидентам хозяина. И когда кланялся Кубанец, черная щетка волос заслонила ему глаза – всевидящие, торчали оттопыренные уши калмыка – всеслышащие.

– Вы можете говорить при мне вольно, – сказал он. – Я все равно ничего не слышу… Я все равно ничего не вижу! Раб…

…

Опять склока с императрицей случилась… Волынский в лето прошлое устраивал облавы в лесах нижегородских, егеря живьем лосей и оленей излавливали. Удалось поймать шестьдесят животных. С бережением везли их под Петербург, чтобы в леса ижорские выпустить для украшения природы. Анна Иоанновна зверей этих к себе потребовала. Перед ней лося выведут, она его прямо в сердце

стреляет. Ведут за рога следующего. И так в одночасье перебила все шестьдесят. Данила Шумахер, описывая этот случай в «Ведомостях», назвал царицу «порфироносной Дианой», а Волынский на Анну Иоанновну в гневе обрушился:

– Ваше величество, ведь Россия еще не кончается. Кому-то и после нас жить придется. На што нещадно зверье губливать?

Анна Иоанновна надулась, зафыркала, обижена:

– О чем ты? Надо же и мне забаву охотную иметь. Или мне, императрице, с ружьем по болотам за зверем ползать?

– Да ведь не охота сие, а – убийство…

Волынского смолоду преследовали идеалы несбыточные. Замыслы его трудно прикладывались к жизни сумбурной. Но там, где касался он дел житейских, там успевал много свершить полезного. Вот и сейчас он возрождал славянскую лошадь, не ведая, что позже от его опытов родится хваленый орловский рысак… В царствование Петра I поборы для нужд кавалерии уничтожили славную русскую лошадь, которой неизменно восхищалась Европа. Русскую лошадь извели, а взамен стали покупать коней «в Шлезии и в Пруссах». Теперь срамно было видеть, какой сброд войскам поставляли. Про мужиков и говорить нечего – не лошади, а мухи дохлые тащили сошки через ухабы… Волынского заботили луга в травах конских, конюшни светлые, лазареты и аптеки лошадиные, генеалогия рысаков породистых. Сколько он брани вытерпел, уму непостижимо. Мол, у нас люди нелечены помирают, а ты, дурак такой, лошадей вздумал лечить.

– Я вот пусть и дурак, – мрачно огрызался Артемий Петрович, – а кобылам своим на Москве аптеку устроил. Вы, смеющиеся надо мною, имейте же о людях заботу такову же, какую я о животных проявил!

Мешал ему в начинаниях обер-шталмейстер князь Куракин, и Волынский злобно ненавидел этого человека, вечно пьяного. Куракин считался патроном Тредиаковского, отчего Волынский, за компанию с князем, и поэта невзлюбил. «Клеотур! – гневался на стихотворца. – Губы-то свои мокрые по книжкам итальянским развесил… Доберусь до тебя, гляди! Изувечу…»

Немецкое племя он не терпел. Министра бесила даже поговорка немецкая: Langsam, aber immer voran (медленно, но все-таки вперед). Он не выносил их прилежной усидчивости в труде, их поступков, всегда неторопливо-последовательных. Волынский не таков – взрывчат в деяниях, как бомба в руках отважного гренадера. По нему – или ничего не делать, на диванах валяясь, или делать так, чтобы все трещало вокруг… Посмотрел он однажды, как усердно клеят конверты фон Кишкели, и под глаза им фонарей наставил:

– Брысь отсюда, курвята митавские!

А вместо этих головотяпов, пользы не приносивших, принял в службу конюшенную двух мужиков. Мало того, министр мужиков этих, вчерашних крепостных, самовластно возвел в чины. Ибо они «лошадиную породу» дотошно ведали. Фон Кишкели снова в передней царицы плакались, и Анна Иоанновна выговаривала Волынскому, что он верных слуг ее обижает, второй раз челобитную на него несут…

Волынский ответил ей:

– Я не из тех, которые пожелают молчанием пользоваться, дабы жить спокойно, и на чужие плутни молчком глядеть не стану. Я ведь, матушка, не за себя, а за государство страдаю…

Говорил так, предерзостно, ибо верил в благоволение Бирона, и царица велела ему объяснительную записку сочинить. Не знал Волынский, что от записки его по делу Кишкелей пролегает прямая тропка – до погоста храма Сампсония-странноприимца, где забыто похилился крест над Посошковым, доброжелателем народа русского.

Глава третья

Дела русские в этом году плохо складывались. Очень плохо! Не к нашей выгоде. Прошлогодний поход Миних загубил, Вена терпела в Сербии поражения от турок, требуя для себя присылки войск русских. Швеция грозила России войной, королевский флот вот-вот мог появиться возле фортеций Кронштадта…

Получалось так, как писано у Тредиаковского:

С одной страны – гром,

С другой страны – гром,

Смутно в воздухе,

Ужасно в ухе!

Турция, укрепясь в успехе, вверила судьбу войны и мира французам. Дипломатия Версала была блестяща, и посол Людовика XV при султане отныне представлял сразу три самые мощные империи – Францию, Австрию и беспредельную Россию. Ключи от дверей, ведущих к замирению, громыхали в руках мудрого кардинала Флери. Франция давно управляет политикой Турции, Францию же покорно слушается и Швеция…

Кампания предстояла трудная. Русской армии необходимо победы добиться. Воинский престиж России снова поднять и Австрию союзную из беды выручить. Надо мир выгодный приобресть. И любой ценой следует разрушить союз шведско-турецкий. Вена уже насытила Европу слухами, будто во всех австрийских неудачах виновата Россия, союзник плохой и неверный, помощи Австрии не дающий.

Были званы в Кабинет фельдмаршалы.

– Ежели мы, – утверждал Остерман, – в помощь цесарцам не явимся с ружьями, то цесарь венский, до крайности дойдя, может мировую с султаном заключить без нашего одобрения. Тогда нам худо станется. Посему и заключаю, что Вене войсками надо услужить!

Держал речь Миних:

– Я бы дал Вене денег, сколько ни попросят, а солдат русских не давал бы никогда – самим нужны! Главное – разорвать связь Царьграда со Стокгольмом, и это я беру на себя: через Европу муха не пролетит отныне без моего ведома.

Миних настаивал, чтобы в этом году Ласси опять в Крым забрался, а на Кубани пусть конница Дондукиомбу отважно действует. Ласси отказывался от похода на Крым, говоря справедливо:

– Флота-то у нас теперь не стало! А флот, по разумению моему, всегда был и будет первым и наиглавнейшим помощником армии…

Анна Иоанновна решила австрийцам уступить, для чего Миниху следовать с армией на Хотин, как о том цесарцы ее просят. Миних озлобленно ворчал, что он не мальчик на венских побегушках. Сообща договорились министры с фельдмаршалами: австрийцы корпус от России получат, но чтобы содержали его на своем коште. С тем и отослали в Вену курьера, который быстро возвратился… Ответ императора Карла VI был таков: уж коли Россия согласна на одно доброе дело, так пусть она уступит Вене и во втором – русский корпус, за Австрию сражаясь, остается на русском иждивении.

Остерман сказал:

– Претензии Вены основательны – в Трансильвании товары дешевы, особливо мясо с крупами, так что все сыты будут…

Послали в Трансильванию кавалерию на конях добрых с отличной амуницией. Австрийцы и стали уничтожать ее! Чуть русский воин отъедет от своих, как пандуры и кроаты Карла VI тут же его убивали. Для того убивали, чтобы разжиться уздечкой, лошадью, ружьем, сапогами. Русское снаряжение им нравилось…

…

В дипломатии русской дипломатам русским было уже не повернуться: отпихивали их Корфы, Кейзерлинги, Браккели, Кантемиры, Гроссы и Каниони… Мало русских послов сберегли свои посты при дворах иностранных. Но зато прочно, словно гвозди в стенке, засели в политику Европы братья Бестужевы-Рюмины – Алексей Петрович, посол в Дании, и Михаил Петрович, посол в Швеции. Первый изобрел бестужевские капли для успокоения души и прославил себя

продажностью; второй брат ничего не изобрел, но продажностью не страдал. Анна Иоанновна обоих братьев хорошо знала, когда они в Митаве при ней камер-юнкерами служили, а отец их, старый вор и развратник, долго был ее любовником…

Михаил Бестужев-Рюмин сидел в Стокгольме, как сидят на бочке с порохом самоубийцы, высекая искру из камня, чтобы раскурить последнюю трубку в жизни. Холодное рыжее солнце заливало зимнюю столицу королевства. В подвалах русского посольства немало хранится золота – для подкупов, для интриг, для убийств. Политика, когда в ней женщины замешаны, особенно в деньгах нуждается… Трудно быть послом в стране, которая не забыла горечи Гангута и Полтавы. После поражений и разорения страны шведы решили уже не допускать королей до управления. Король сидел на престоле, но подчинялся решениям сейма. Шведы ограничили монархию, чего не могли сделать русские при вступлении на престол Анны Иоанновны. Прекрасные дамы в королевстве своей красотой, речами и любовью возбуждали страсти политические.

А партий было две – партия «шляп» и партия «колпаков».

Одни шведы желали отмщения России, и король сказал:

– О, какие боевые шляпы!

Другие стояли за мир с Россией, и дамы оскорбили их:

– Вы презренные ночные колпаки!

Перстни и табакерки дворян украсили изображения шляп и колпаков. Вражда двух партий перешла в бюргерство, от бюргеров – в деревни, и скоро все королевство передралось. Молодежь дуэлировала под взорами «партийных» красоток. Борьба «шляп» с «колпаками» взяла от Швеции столько жертв, сколько берет иногда война. Бестужев-Рюмин с тревогой наблюдал, что верх одерживают воинственные «шляпы». Через подкупленных членов сейма он дознался, что договор Стокгольма с султаном турецким уже готов. Скоро дублеты ратификаций отвезут в Царьград, после чего флот шведский нападет на Петербург. Под окнами посольства слышались крики:

– Мы за принцессу Елизавету, дочь Петра… Мы не против русских, но мы ненавидим правительство в России! Анна Иоанновна влечет вас к гибели… укротите самодержавие ее, как мы укротили королевское самовластие!

Бестужев вызнал, что ратификации к султану повезет барон Малькольм Синклер в майорском чине. «Мое мнение, – депешировал посол Остерману, – чтоб Синклера анлевировать, а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки… Я обнадежен, что взыскивать шведы с нас не станут за жизнь его!» Бестужев-Рюмин стороною вынюхал все о майоре Синклере. И нашел вскоре удобный случай повидаться с ним.

– У вас завидная судьба, – сказал посол дружелюбно.

На чистом русском языке ему ответил Синклер:

– Это справедливо. Жизнь моя есть чудесное сцепление замечательных случайностей. Я столько раз от смерти убегал! Тринадцать лет провел в плену русском, и вот… По вашим глазам, посол, я вижу, что вы не прочь бы и теперь сослать меня в Тобольск.

Бестужев рассмеялся, хитря напропалую.

– Нет, – отвечал. – При чем здесь я? Я говорю не от себя. А от имени прекрасной дамы, что влюблена в вас. Давно и пылко любит вас она. Но… безнадежно!

– Безнадежно? Отчего же? – удивился Синклер.

Со вздохом отвечал ему посол России:

– Увы, она имеет мужа. Но пылкость чувств желает отдавать не мужу, а таким, как вы… Меня она просила передать секретно, что ей желательно иметь ваш портрет.

– Но писание портрета времени потребует. Позировать художнику согласен я. Но времени-то нет для этого…

«Ага! Значит, ты и вправду скоро отъезжаешь в Турцию».

– Зачем писать портрет, который вешают на стенку? – ответил Бестужев-Рюмин. – Широкого полотна для любви не надобно. Дама, сгорающая от чувств к вам, желает видеть вас в миниатюре, чтобы изображенье ваше ей было легче от ревности мужа укрывать.

– В миниатюре… я согласен! – воодушевился Синклер.

Портрет был сделан в медальоне на слоновой кости. Спрятанный на груди курьера, он срочно был доставлен к «прекрасной даме» в Петербург… Остерман передал миниатюру Миниху:

– Вот человек, которого следует опасаться.

Миних показал изображение Синклера герцогу.

– Анлевируйте его, – посоветовал Бирон…

Фельдмаршал вызвал к себе трех бравых офицеров, крови давно не боящихся: барона фон Кутлера, Левицкого и Веселовского.

– Посмотрите на этот портрет и запомните лицо человека, которого следует вам найти и анлевировать. Документы его забрать! Посол наш в Дрездене, барон Кейзерлинг, уже предупрежден, и все бумаги Синклера переправит в Петербург. За это вас ждут чины. Деньги. Слава. Отпуск. Вино. Женщины… Что непонятно вам?

– Нам все понятно, фельдмаршал, кроме одного вашего слова. Объясните, что значит «анлевировать»?

Миних сердито засопел, отворачиваясь к окну.

– Убейте его, как собаку, – пояснил он…

Коварным планом убийства Синклера тишком поделились с Веною; император Карл VI просил императрицу заодно уж (если случайно встретится на дороге) убить и Ференца Ракоци – врага Габсбургов, пламенного борца за свободу

Венгрии от ига австрийского. Пустынные дороги Европы рассекали шлагбаумы кордонов. Чума кружила по городам, жившим с закрытыми ставнями окон. Цокот подков глухо отдавался в тихих улицах. Почтовые тракты, карантины, верстовые столбы, кресты на могилах и распятия Христа на дорогах… Какой большой мир окружал всадников, и в этом мире бесследно затерялся майор Синклер… Искать его – как иголку в стоге сена!

…

От дел внешних – к делам внутренним… Волынский по ночам жег свечи, сочинял для императрицы записку на доносы фон Кишкелей. Не казенная отписка у него получилась, а – страшно подумать! – памфлет на все устройство власти русской. Артемий Петрович не мог удержать пера в бешеном разбеге ярости – он вступал в полемику с самодержавием, держа речь иносказательную, как и положено в сатире лукавой… Язык министра – тоже не казенный, он говорит языком общенародным, бойким (это был отличный язык того времени). Перо в муках творчества брызгало чернилами.

– Жарко мне! – и гнал свое перо дальше.

Самые страшные обвинения на паразитов придворных Волынский возвел в пункте, называемом «Какие притворства и вымыслы употребляемы бывают при монарших дворах, и в чем вся такая закрытая и бессовестная политика состоит». Мелких гаденышей фон Кишкелей министр даже забыл – ногою он попирал крупных гадов.

Кому ни прочтет Волынский, все только ахают:

– Да ведь это же про Остермана… про самого Бирона!

Нашлись охотники иметь копии с этой канцелярской бумаги, которая под пером автора стала художественной сатирой. От руки перебеленные, списки с памфлета Волынского по Руси начали расходиться – читали их грамотеи в провинции, воеводы и священники, чинодралы и патриоты истинные. А было доношение это секретно, для одной императрицы предназначено. Потаенно

растекался памфлет по углам медвежьим, волнуя людей и тревожа. Чтобы еще шире прослышали о нем, министр Ададурова к себе привлек:

– Я немецкого не ведаю, Василий Евдокимыч. Ну-ка, перетолмачь с языка нашего березового на язык воистину дубовый…

В немецком переводе прочел записку и герцог Бирон; человек неглупый, он сразу смекнул – что к чему.

– Ха-ха! – смеялся Бирон, довольный (главного так и не разгадав). – Какой ты молодец, Волынский… Я сразу понял, что ты здесь Остерману могилу роешь! Хвалю, хвалю.

– Самоусладительно начертал, – ответил ему министр.

Коли хвалит Бирон, то и Анне Иоанновне хвалить бы пристало. Но императрица была недовольна:

– Я тебя о чем просила писать? Ты про Кишкелей здесь – ни слова, а в дела совсем не конюшенные залезаешь… Гляди, Петрович, философии эти никого еще до добра не доводили! Нашептали мне люди знающие, что ты Остермана моего не щадишь?

Остерман же был настолько хитер, что обиду утаил:

– Смею заверить ваше величество, что вы заблуждаетесь относительно оскорбления моего. Волынский может грязнить меня и дальше, сколько ему хочется… Что взять с сумасброда? И не о том печалюсь я, драгоценная наша и великая государыня.

– О чем же, граф?

– Автор сей негодный не меня – он ваше величество не пощадил, а вы, матушка, доверчивы к людям, того и не приметили.

– Или глупа я, по-твоему? – надулась императрица.

Остерман ловко строил свой донос на Волынского.

– Мудрость вашего величества неописуема, – отвечал он спокойно. – Но прочтите еще раз пункт «О приведении государей в сомнение, дабы оне никому верить не изволили». Многое тут Волынский перенял от Макиавеллия, и, говорят, в библиотеке его еще более зловредные книги сыскать можно… Оттуда-то он брызжет ядом крамольным на власть вышнюю, коя от бога венценосцам даруется!

Несколько дней Анна Иоанновна ходила сама не своя. На приеме придворном она от престола с «державным штапом» в руке вдруг ринулась прямо на Волынского:

– Ведаешь ли ты, министр, что порядок на Руси издревле таков: за писанное пером у нас рубят голову топором?

Неожиданно раздался голос Бирона:

– А мне нравится, как написал Волынский…

Анна Иоанновна сникла. Она подкинула скипетр в руке, как дубину неловкую, и, поддернув края золотистой робы, величаво вернулась под тень балдахина – к престолу. Снова расселась там…

Волынский глянул на Бирона, и тот ему подмигнул, как конфидент верный. Ничего страшного. Шведский флот сейчас страшнее. Ибо, как докладывал в Сенате Соймонов, за годы последние русский флот изволил высочайше сгнить на приколе в гаванях…

С одной страны – гром,

С другой страны – гром,

Смутно в воздухе,

Ужасно в ухе!

Глава четвертая

Временами все спокойно. Но тишине верить нельзя. Не унялась жажда крови в царице – просто она осматривается по сторонам и… слушает! Анна Иоанновна всегда так поступала: казнит кого-либо, а потом утихомирится, выжидая ропота народного. Убедится, что бунта нет, и тогда довершает мщение. В казнях она следовала примеру Иоанна Грозного, который одного человека никогда не губил, а губил семьи. Но у семьи родичи были – значит, и весь род надо уничтожить. Ежели кто пожалел убитых, таких – на кол! Сородичей на кол посаженного повесить. Близких к повешенному сжечь. И оставалось поле ровное… Анна Иоанновна кусты родовые тоже с корнем старалась выдергивать из почвы. Месть императрицы была замедленной, будто игра кошки с мышкой; она была осторожна, но неотвратима, как рок…

В застеночном «мешке» обители Соловецкой уже восемь лет сидел дипломат князь Василий Лукич Долгорукий. Борода седая до полу выросла, в ней вши шевелятся, а под рубахой акриды-сороконожки бегают. Редко во мраке отворится люк, куда пищу для него спустят на веревке… Много лет промолчал Лукич, задубел в горе и долготерпении. Ждал он (годами ждал), когда позовет его Нафанаил.

Прикидывал во мраке: какой год нонеча? Кажись, весна.

Дух-то какой доходит от моря тающего. Коли глотнешь из люка, воздух ножиком острым в ноздри впивается. Нет, не зовет его старец… Неужто помер уже Нафанаил?

Лязгнули запоры над ним – велели Лукичу вылезать. Монахи подхватили его из ямы, повели узника коридорами длинными в келью, где благодатно было. Стояла посередь чаша с водою чистою, в ней ветка почками распускалась. А на подоконнике голуби зерно клевали. Старец Нафанаил лежал, высоко и бестрепетно, на ложе жестком. Рукою указал Лукичу, чтобы сел ближе. Сказал, что умирает.

– Стены эти, – говорил Нафанаил, – помнят и ватаги Стеньки Разина, когда они тут от царя упрятывались. Ой, много тут людей схоронилось, от мира дурного отрешась навеки… Обитель Соловецкая есмь Ватикан российский, и немало мы соглядатаев и слухачей на Руси имеем, каждый вздох слышим… стоны собираем,

как жемчуг, ведем счет летописный горестям и радостям.

Лукич смотрел, как голуби целуются, как прет из ветки сила сочной, молодой жизни, и… плакал.

– Плачь, князь, плачь горше. Родичей твоих в Березове арестовали, всему роду вашему погром учиняется жестокий.

– О проклятый Бирен! – вскричал Долгорукий.

На что Нафанаил отвечал ему в спокойствии мудрейшем:

– Бирона ты излишне не осуждай. Герцог виновен не более собаки, коя к волчьей стае пристала. Средь злодейств самодержавных злодейства Бирона даже не разглядеть… Но и вы! – сказал старец, на локтях с ложа поднимаясь. – Вы, бояре подлые, более всех повинны в мучениях народа. Не будь вашей грызни по смерти Петра Великого, и вся бы Русь иной дорогой пошла…

Долгорукий, сгорбясь, поднялся:

– Не такого свидания ожидал я, старче Нафанаил… К чему ты упрекал меня? Благослови хоть…

Черносхимник слабо перекрестил его:

– Благословляю тя на муки!..

Лукича солдаты заковали в цепи, и ворота обители распахнулись. Лед в гавани Благополучия уже сошел, зеленел свежий мох в камнях стен монастырских, солнце ослепляло узника, надрывно кричали чайки. Лукича спустили в баркас под парусом, поплыли в синь моря.

– Люди добрые, скажите, куда везете меня?

– Молчи, дедушка. Не вынуждай присягу нарушить…

Страшно было. Но иногда сладостно замирало сердце: может, простила его Анна Иоанновна? Ведь была же она в объятиях его… Бабье сердце должно бы помнить!

…

Тихо было. Но в тишине этой большие гады шевелились…

Тоску душевную глушила императрица в вине, которое пила лишь в кругу персон близких, ею проверенных. И средь них первым являлся обер-шталмейстер князь Александр Куракин; человек ума острого, всю Европу объехавший, многие языки знавший, он в пьянстве беспробудном был ужасен, задирист, вязался в ссоры разные и безобразничал всяко.

– Брось пить, Сашка! – говорила ему императрица. – Отставок не бывает для дворян, а то бы я тебя отставила от службы.

– Не я пью, – отвечал Куракин, – то Волынский пьет.

– Как это понимать?

– Он порчу на меня насылает. Заколдован я врагом моим. И не хочу пить, а сила нечистая опять меня в пьянство вгоняет…

– О чем ты болтаешь, Сашка?

– Голову надо Волынскому за колдовство отрубить!

В защиту кабинет-министра вступался сам Бирон:

– Ферфлюхтер дум! хундфотт! шпицбубе! – осыпал он бранью Куракина. – Кому еще из русских могу я довериться, как Волынскому? Тебе, что ли, из блевотины вставшему и в блевотину ложащемуся?

Но князь Куракин не унимался, травил Волынского при дворе. Тредиаковский недавно сатиру написал на вельможу самохвала, и Куракин читал ее всюду:

…за все пред людьми, где было их довольно,

Дел славою своих он похвалялся больно,

И так уж говорил, что не нашлось ему

Подобного во всем, ни ровни по всему…

На кого из вельмож написал поэт сатиру – не ясно, но Куракин трезвонил налево и направо:

– Это же про него – про Волынского нашего…

Волынский появлялся при дворе, а шуты ему кричали:

– Волынка идет! Дурная волынка всю музыку портит…

И наблюдательный Ванька Балакирев сделал вывод:

– Кому-то музыка волынки не по нраву пришлась.

Бирон, сочувствуя министру, спросил его однажды:

– Друг мой Волынский, не знаешь ли вины за собой?

– Какие вины? Ныне я не греховен.

– Однажды я тебя от плахи спас. Второй раз не спасти.

– И не придется, ваша светлость, вам меня спасать…

Волынский теперь не лихоимствовал, взяток не брал – жил на 6000 рублей, которые получал по чину министра. Это очень много! Но зато очень мало, чтобы при дворе бывать, и Артемий Петрович делал долги. «Я нищим стал», – говорил

он, даже гордясь этим…

– Не надо ль денег тебе? – спрашивал его Бирон.

– У вашей светлости я не возьму, и без того немало сплетен, будто я клеотур ваш…

– Смотри, Волынский, – похлопал его Бирон по спине. – Будь осторожней, друг. Какие-то тучи стали над тобой клубиться.

Бирон частенько устраивал у себя приемы. К столу в изобилии подавались ананасы, персики, абрикосы, выращенные в подмосковной экономии императрицы – в Анненгофе. Звали всех – вплоть до Балакирева. Шут с женой являлся, такой махонькой, что она ему только до пупа доставала головой своей.

– Изо всех зол, какие существуют на свете, – пояснял Балакирев, – я выбрал для себя зло самое малое…

Бирон при гостях бывал любезен. Его суровый резкий профиль мягчал в пламени свечей, он был наряден, красив – широкий в плечах, тонкий в талии. Совсем иначе принимала гостей его горбунья. Биронша сидела на возвышении – вроде трона. Недвижима. Пудрой засыпана. Вся в блеске бриллиантов. И только руку совала – для поцелуя.

Сажали гостей не по билетам, а кому какое место достанется. Пересчитали всех с конца, и один остался без куверта. Этим последним оказался Балакирев, конечно.

– Да не с того конца считали, – обозлился шут. – Пересчитайте, с меня начиная, и тогда лишнего на улицу выгоним.

Пересчитали снова гостей, и лишним оказался сам герцог.

– Ну, это уж слишком! – оскорбился Бирон. – Ты не завирайся, скотина. Тебе люди давно уже, как скоту, дивятся.

– Неправда! – возразил Балакирев. – Даже такие скоты, как ты, герцог, и те дивятся мне, как человеку среди скотов…

Над столом поднялся пьяный князь Куракин.

– Матушка! – воззвал к царице (и гости притихли). – Все великое, что предначертано дядей твоим, Петром Великим, ты уже исполнила. И даже повершила Петра в благодеяниях своих… Но в одном ты осталась в долгу перед своим заслуженным предком.

– В чем же не успела я? – нахмурилась Анна Иоанновна.

– Петр Великий, – говорил Куракин, – уже намылил веревку для шеи Волынского, ибо знал за ним дела опасные. Но государь умер, а дело сие препоручил историческим наследникам славы своей. Так заверши успехом предначертание царствования прежнего!

Раздался смех (не смеялись лишь послы иноземные). Исподтишка они взирали на Волынского, а он хохотал пуще всех, хотя кошки на душе скреблись. Смех утробный резко оборвал вдруг Бирон:

– Ты пьян, шталмейстер! Вон отсюда…

Когда гости разъезжались, они на все лады расхваливали стол герцога, особенно – вина. Анна Иоанновна упрекнула Балакирева:

– А ты, бессовестный, отчего не похвалишь вина хозяина?

– Ах, матушка, – отвечал шут, – уж сколько лет мы с тобой знакомы, а все никак тебе ума от меня не набраться. За твоим хозяином всегда немало вин сыщется, чтобы повесить его…

Вот тут герцог не выдержал и стал его бить. А поколотив, Бирон распорядился:

– Тащите его на кухню… Дайте, что ни попросит!

С кухни герцогской чета Балакиревых обрела немало объедков лакомых, едва тронутых зубами гостей. Даже два целехоньких персика достались (детишкам). И отправился шут домой с крохотной женой своей, рассуждая по-хозяйски:

– Все же не напрасно я день сей поработал…

Небо над Петербургом было прозрачно. Весна, весна!

…

В прозрачном небе над озером Ладожским возник мираж, в который не хотелось верить. Вроде бы замок вырос над водой сказочный. Низко к горизонту присели его бастионы, словно крепость тонула в озере. Фасы ее были покрыты первою травкой, паслись там чистенькие козочки…

Лукич взмолился перед караульными:

– Да не томите боле меня… куды завезли, братики?

– Шлиссельбург, – сказали ему шепотком…

Первый, кого встретил здесь Долгорукий, был Андрей Иванович Ушаков – сытенький, добренький, с улыбкою ехидной:

– Постарел ты, Лукич, да и немудрено: сколь лет миновало, как на Москве остатний разок виделись мы…

А вокруг великого инквизитора – целый штат: писари, палачи, костоломы и костоправы, доводчики, скрепщики листов допросных, и все они стараются угодить инквизитору, будто черти в аду сатане главному. Кажется, будь хвост у Андрея Иваныча – подчиненные хвост ушаковский носили бы на атласной подушке…

– Неужто, – спросил Лукич, – истязать меня станешь?

Ушаков ответил князю Долгорукому:

– Мы здесь никого не истязаем, сии слухи ложные. Мы токмо правды изыскиваем. И ты, князь Лукич, сейчас приготовься…

Из ледяного озноба «мешка» соловецкого попал Лукич прямо в пламя пытошное. С дороги дальней даже передохнуть ему не дали. От жара он глаза зажмурил, уперся в беспамятстве:

– Не помню! Ништо не помню… изнемог, ослабел.

Ушаков беспамятству в людях не дивился. Поначалу все так говорят. И бесстрастным голосом продолжал по пунктам.

– Почто, – спрашивал он Лукича, – в годе тыща семьсот на тридцатом выражал ты пред императрицей намеренье подлое, дабы сиятельного обер-камергера Бирона она с собой на Москву брать не отважилась, а оставила бы его на Митаве прозябать?

Нет, ничего не забывала Анна Иоанновна – все она помнила и ничего не простила. Кричал в ответ Лукич с дыбы:

– От ревности я… сам любиться с нею желал!

– Добавь огня, – суетился Ванька Топильский.

Добавили.

– Каково умышляли вы, Долгорукие, власть самодержавную обкорнать и злодейски с Голицыными-князьями грезили, дабы на Руси республику создать с аристократией наверху, каковая сейчас существует во враждебной нам Швеции?

– То не я, не я… это Голицыны нас мутили!

Дверь темницы раскрылась, и увидел Лукич племянника своего, князя Ивана Долгорукого, который тоже привезен был сюда из Березова. Куртизана царского палачи на руках внесли, ибо ослабел от пыток Иван – не мог сам ходить.

Ушаков поставил вопрос такой:

– Поведай нам без утайки, как вы, Долгорукие, в гордыне непомерной и пакости, в том же году тридцатом составляли подложное завещание от имени покойного императора, чтобы царствовать на Руси порушенной невесте его – Катьке, девке долгоруковской!

– Оговор то, – отрекался Лукич.

Иван поднял голову, произнес тихо:

– Нет, дяденька, так и было… Вспомни, как мы писали сие завещание. Они все уже про нас знают. Я сознался им. Сознайся и ты, миленькой… Лучше смерть, нежели муки эти!

Лукич задергался на дыбе – в рыданиях, в воплях:

– Нет! Нет! Нет! Неправда то… Ничего не было такого!

– Придвиньте его, – велел Ушаков.

Старого, почти безумного дипломата палачи подтянули к огню, и он там извивался, как червь. Кричал от боли.

– Ты не кричи, – внушал ему Ушаков. – Лучше скажи, как было все истинно, и мы огонь уберем. Отдохнешь тогда…

– Жарко мне! – вопил старый человек. – Отвезите обратно на Соловки… в ледяной «мешок» прошусь! Заточите снова меня…

А снизу – голос тихий, словно лепетанье ручья.

– Сознайся им, дяденька, – говорил князь Иван, – все равно слаще гибели ничего нет. Умрем, как уснем… Замучают ведь! Долгорукие Москву на Руси основали, но более не живать нам на Москве… Не дли страдания свои – сознайся им, дяденька!

Свозили громкофамильных Долгоруких отовсюду в крепость Шлиссельбургскую, и Лукич, словно в дурном сне, видел перед собой лики сородичей, о которых успел даже позабыть в темнице соловецкой… Он сознался! Сознался Лукич, и теперь уже сам кричал на родственников при ставках очных:

– Сознавайтесь и вы! Спешите, миленькие… В плахе и есть наше едино спасение от мук. Не спорьте… Так будет лучше!

…

На гнилом времени всегда гнилье и вырастает…

Вот и Гришенька Теплов не смог затеряться во времени том ужасном. Феофан Прокопович оставил сыночка, сообщив сиротинке полезные для жизни знания и внушив ему повадки волчьи. Теплов на вельможных хлебах произрастал. Кому к празднику кантатку сочинит для голоса со скрипкой, кому картинку на стене намалюет, при случае он и вирши для свадьбы напишет.

Волынский однажды Гришку тоже к себе залучил. Генеалогия рода Волынских, которую преподнес ему в Немирове патер Рихтер, разбередила в душе язву гордости боярской. Теплов вошел в дом кабинет-министра с трепетом слабого человека перед сильным человечищем… Стены обиты атласом красным, потолки расписаны травами диковинными. Зеркала в рамах золотых или ореховых. Много картин было. По углам оттоманки турецкие стояли. А на самом видном месте портрет Бирона красовался, писанный маслом заезжим на Русь Караваккием… В кабинеты юношу проведя, министр сбросил с плеч казакин камлотовый. Парик громадный на стул швырнул. А под париком – голова круглая с шишками, волосы кое-как ножницами обхватаны. Надел Волынский халат шелковый и всем обликом своим стал похож на сатрапа стран восточных.

– Ныне, – заговорил свысока, – я желаю экспедицию на поле Куликово послать. Ведомо ли тебе, тля монастырска, кого именно князь Дмитрий Донской в помощниках ратных при себе содержал?

– Не ведомо, – покорнейше склонился Теплов.

– Плохо тебя Феофан обучил, размазня ты архиерейска! А на поле Куликовом я задумал землю подъять через мужиков лопатами. Дабы взорам моим открылась та почва, на которой предки наши геройски с татарами бились. Наука есть такова, археологией прозываема. Влечет она! Правою же рукой Дмитрия Донского в битве предок мой прямой был – Боброк-Волынский, женатый на сестре того Дмитрия Донского… От них же и я произошел!

Присел Волынский напротив Теплова, глянул на ногти свои – крупные, все в ущербинах, как у мужика.

– В дому Шереметевых, – продолжал с завистью, плохо скрытой, – видел я картину, коя родословное древо изображает. Хочу и себе такую иметь. Мой род, – похвалился Волынский, – гораздо древнее Романовых будет, о чем и хроники ветхие сказывают… Изобрази же предков моих в золоченых яблоках, внутрь которых имена ихние впиши. Дерево же генеалогическое веди вплоть до деток моих… Слышишь ли?

За стеною были слышны голоса детей, которые пели:

Запшегайце коней в санки,

Мы поедем до коханки.

Запшегайце их в те сиве,

Мы поедем до щенсливе.

– Боюсь, – ответил Теплов, – сумею ли угодить вашей персоне высокородной и столь прославленной?

– А не сумеешь, так я тебя… со свету сживу!

Плясали и пели за стеной дети кабинет-министра:

Юж, юж, добраноц,

Отходим юж на ноц…

До чего же странный дом на Мойке, близ дворца царицыного! Говорил с хозяином по-русски, сидел на кушетке персидской, а дети пели по-варшавянски. И не забылась Теплову фраза, которую случайно обронил Волынский: «Мой род горазд древнее Романовых будет». Сказано так, что можно сразу под топор ложиться… Гриша мучился не один день: «Сразу донесть? Или чуток погодить? Страшно ведь – не прост он: кабинет-министр, во дворец вхож…»

Не выдержал и посетил великого инквизитора.

– Ваше превосходительство, – доложил Ушакову, – страшно мне. Ног под собой не чую от томления, а сказать желаю.

И сказал, что слышал от Волынского. Андрей Иванович остался невозмутим. Губами пожевал и ответил:

– Ладно. Бог с тобой. Ступай.

А в спину ему добавил, словно нож под лопатку всадил:

– Ты походи еще к министру… послушай, понюхай!

Начал Гриша рисовать для Волынского большую картину. Примером в работе ему служило иванoникитинское «Древо государства Российского», писанное к коронованию Анны Иоанновны; тут императрица была изображена громадной, а вокруг нее мелюзгою разместились все прочие цари… Иван Никитин ладно разрисовал царицу, да не помогло: выдрали плетьми и сослали! «Как бы и мне не сгинуть», – тревожился Гриша, выводя предков министра в яблоках родословного древа… Заодно с живописью расцветал в Грише еще один могучий талант – фискальный! Такой парнишка никогда не пропадет.

Глава пятая

День ото дня не легче! Нежданно-негаданно под самым боком России в разбое и кровожадности вдруг выросла сильная и гигантская империя… Создал ее разбойник – шах Надир!

Персия раскинула пределы свои по южным окраинам России, всех соседей ужасая, все заполоняя и покоряя. Под саблей Надира оказались в рабстве Армения, Азербайджан, Грузия, Дагестан, Афганистан, уже грабили персы Бухару и Хиву… Весною до Петербурга дошло известие, что Надир вторгся в Индию, предал ее полному разграблению; он вступил в Дели, столицу Великих Моголов, вырезал там всех жителей поголовно и уселся на «трон павлиний». Надир спешно вывозил в Мешхед неслыханные богатства Индии, каких не имел еще ни один владыка мира[1 - Среди них и знаменитый бриллиант «Кохинур» («Гора света»), попавший в британскую корону. Алмазный фонд располагает сейчас двумя крупными бриллиантами, вывезенными Надиром из Индии: «Орловым», который входил в украшение скипетра, и камнем «Надир», которым Персия расплатилась с царизмом за убийство в Тегеране поэта и дипломата А.С. Грибоедова.]. А теперь, по слухам, разбойник готовит нападение на Астрахань, желая покорить себе и народы калмыцкие, русской короне подвластные.

Индия, в которую так стремился покойный Кирилов – с дружбою, была предана осквернению «побытом грабительским». Страшен шах Надир в ослеплении своем! Если полчища его двинутся на Астрахань, России тех краев прикаспийских будет не отстоять. Сколько уже Остерман отдал Надиру земель на Кавказе, желая зверя задобрить, а все напрасно… Но сейчас, в чаянии похода армии к Дунаю, надо упредить нападение на Балтике со стороны Швеции.

Никогда еще политика русская не была так запутана, так задергана, так бессильна. Остерман и присные его довели ее до истощения, сами тыкались из стороны в сторону, словно котята слепые. А издалека, из жасминовой тишины Версаля, наблюдали за потугами Петербурга зоркие глаза кардинала Флери.

Россия видела угрозу себе уже с трех сторон:

Чудовище свирепо, мерзко,

Три головы подъемлет дерзко,

Тремя сверкает языками,

Яд изблевать уже готово!

Как никогда России нужна была победа ее армий…

…

Большие дороги Европы еще с давности сохранили такую ширину, какой хватало рыцарю, чтобы проехать, держа копье поперек седла. Сейчас по ним скакали драгуны и почтальоны с офицерами. На постоялых дворах они искали Синклера или Ференца Ракоци, дабы их «анлевировать»… Русское самодержавие, чтобы выйти из тупика в политике, прибегло к наглому разбою на больших дорогах!

Чума уже проникла за кордоны европейские. На карантинах проезжих осматривали. Строго следили за постояльцами в гостиницах. Одинокий путник, одетый неприметно, остановился в бреславльской гостинице «Золотая шпага», где его сразу же навестил бреславльский обер-ампт – в гневе.

– Сударь, – спросил он, – известно ль вам, что чума, сшибая шлагбаумы, уже ворвалась в земли венгерские и польские? Но я не отыскал вашего имени в кондуитах карантинных.

– А разве вы знаете мое имя? – усмехнулся путник.

– Так назовитесь.

– Извольте. Шведский барон Малькольм Синклер, рожденный от генерала королевской службы и честной девицы Гамильтон.

– А может, вы чумной… откуда знать, барон?

Синклер протянул ему два паспорта сразу:

– Посмотрите, кем подписаны мои пасы.

Обер-ампт был поражен. Один паспорт был подписан лично королем Франции, а другой – лично королем Швеции. Чума отступила от блеска таких имен, силезский чиновник отступил от Синклера. Барон сел в карету и, в окружении почтальонов, трубящих в рога, поехал дальше. Синклер ощутил за собой погоню еще в землях голштинских, но там его не тронули. Силезия гораздо удобнее для

нападения на посла шведского, ибо она подвластна Габсбургам…

Еще не улеглась пыль за Синклером, как в гостиницу «Голубой олень» шумно вломились три странных путника в плащах, за ними валили по лестницам драгуны и почтальоны. Три офицера – капитан фон Кутлер, поручики Левицкий и Веселовский – неохотно показали обер-ампту свои паспорта… Боже мой! Теперь на пасах стояла подпись самого австрийского императора Карла VI, и обер-ампт вконец растерялся, он просил об одном:

– Только не задерживайтесь долго в Бреславле.

– Сейчас мы перекусим и поедем дальше…

Они стали пить водку, приставая с вопросами:

– Не проехал ли тут до нас такой майор Синклер?

Обер-ампт (наивная душа) охотно им ответил:

– Учтивый господин! Он только что покинул город.

Офицеры сразу вскочили из-за стола:

– Седлать коней! Быстро…

Драгунские кони в галопе стелились над дорогой.

Мчались час, два, три…

– Карета, кажется, там едет.

– Верно! Я слышу, как трубят рога.

– Вперед, драгуны! Обнажайте палаши…

Внутри кареты сидел, забившись в угол, Синклер.

– Стой! – кричали всадники, заглядывая в окна.

Место было пустынное. Вокруг росли кусты, в которых пели соловьи. Блеяли в отдаленье овцы да играл на тростнике пастух.

Вид множества пистолетов не испугал Синклера:

– Если вы разбойники и ограбление путников служит вам промыслом для жизни, то я… Я готов поделиться с вами содержимым своего кошелька. Но позвольте мне следовать далее.

Кошелек его отвергли, у Синклера просили ключ:

– От этого вот сундука, что вы держите на коленях.

Майор отдал им ключ, а сундук они и сами забрали у него.

– Может, теперь его отпустим? – спросил Левицкий.

– Как бы не так! – огрызнулся Веселовский. – Отпусти его живым, так нам в Петербурге головы поотрывают…

– Я вас отлично понял, господа, – произнес Синклер, побледнев. – Язык русский мне знаком достаточно.

– Кончай его! – приказал фон Кутлер. – Руби!

В кустах затих соловей, и там раздался стон Синклера:

– О боже праведный… за что меня? За что?

Загремели выстрелы, из кустов выскочил Веселовский:

– Эй! Бросьте мне пистолет. Я расстрелял все пули.

Драгуны прикончили Синклера палашами. Кутлер разбил сундук об камни, ибо не смог разгадать секрета его замка; обнаружил потаенное дно в крышке, извлек наружу кожаную сумку с бумагами. Только сейчас он заметил, что почтальоны Синклера еще стоят на коленях посреди дороги. Кутлер прицелился в них из двух стволов.

– Нет! – закричал Левицкий, бросаясь грудью под пистолеты капитана. – Они здесь ни при чем. Уж их-то мы отпустим!..

…Барон Кейзерлинг сидел в своем посольском кабинете в Дрездене, когда к нему ворвался фон Кутлер с кожаной сумкой:

– Вот эти бумаги… скорее в Петербург!

Кейзерлинг взял со стола колокольчик, звонил в него так долго, пока в кабинет не вбежали все двенадцать секретарей.

– Курьера! – сказал им посол. – Пусть скачет как можно скорее через Данциг в столицу. И прочь отсюда… вот этого мерзавца! Я не желаю запятнать себя убийством грязным на дороге…

Секретари оторвали Кутлера от кресла, потащили его прочь из кабинета. Ноги капитана заплетались от счастливой усталости. Он улыбался блаженно. Карьера ему обеспечена.

– Боже, – бормотал Кутлер, – спасибо, что не забыл меня…

…

Словно буря пронеслась над шведским королевством. Стокгольм поднялся на дыбы, как жеребец, которого прижгли по крупу железом раскаленным. Вся ярость «шляп» вдруг совместилась с гневом «колпаков». В доме посольства русского разом вылетели все окна, к ногам Бестужева падали булыжники, запущенные с улицы.

– Посла – на виселицу! – ревела толпа.

– Сжигайте всё, – велел Бестужев секретарям.

Из трубы дома посольского потекли в чистое небо клубы черного дыма. Бестужев-Рюмин поспешно уничтожал архивы, переписку с Остерманом, уничтожал бумаги о подкупах членов сейма. Казалось, война Швеции с Россией уже началась.

– Не мы! – кричали шведы на улицах. – Теперь уже не мы войны хотим… Дух мертвого Синклера повелевает нами! Дух убитого Синклера влечет нас к мести благородной…

Санкт-Петербург был подавлен таким оборотом дела. Как мыши, притихли чиновники в остермановской канцелярии. Анна Иоанновна рукава все время до локтей засучивала, словно к драке готовясь. Ей доложили, что решение об «анлевировании» Синклера было принято в тесном кругу – Бирон, Миних, Остерман, а Бестужев-Рюмин из Стокгольма сознательно подзуживал их на это убийство.

– Круг-то тесен был, а теперь круги широко пошли…

Миниху к армии императрица срочно сообщила:

«…мы великую причину имеем толь паче сожалеть, понеже сие дело явно происходило, уже повсюду известно учинилось, и легко чаять мочно, какое злое действо оное в Швеции иметь может… Убийц Синклера самым тайным образом отвесть и содержать, пока не увидим, какое окончание сие дело получит, и не изыщутся ли еще способы оное утолить».

Не было в Европе завалящей газетки, которая бы не оповестила читателей об убийстве Синклера на большой дороге. Иогашка Эйхлер знай себе таскал в кабинет Остермана разные ведомости – «Берлинские», «Галльские», «Франкфуртские» и прочие. А там императрицу обливают помоями, перед всем миром дегтем ее мажут… Делать нечего, и Анна Иоанновна сама стала писать в европейские газеты:

«Божию милостию, Мы, Анна, императрица и самодержица Всея Руси и пр. и пр., откровенно сознаемся, с неописанным удивлением узнали о случившемся со шведским офицером Синклером. Хотя, благодарение Богу! Наша Репутация, христианские намерения и великодушие Наши на столько в мире упрочились, что ни один честный человек не заподозрит Нас…»

Но императрице российской никто в мире не поверил.

Желая отвести угрозу новой войны, триумвират придворный, наоборот, эту войну приблизил к северным рубежам России.

– Устала я от невзгод нынешних, – призналась Анна Иоанновна Ушакову. – Пусть дале без меня в этом разбираются…

Ушаков заковал в цепи капитана фон Кутлера, награды ждавшего, арестовал и поручиков Веселовского с Левицким. Спрашивали они – за что их так усердно благодарят?

– Чтобы вы спьяна лишку где не сболтнули, – отвечал Ушаков. – Государыня наша печатно передо всей Европой расписалась в том, что мы Синклера и в глаза не видывали.

Повезли убийц в Шлиссельбург, а потом пропали они на окраинах Сибири, до самой смерти не имея права называться подлинными своими именами. Сумку кожаную от Синклера подбросили через шпионов на площади в Данциге. Остерман так был напуган, что все документы ратификаций в эту же сумку обратно и запихнул.

– Устала я… ох, устала! – жаловалась Анна Иоанновна.

Но скоро на нее, помимо бед политических, обрушились невзгоды семейные – склочные, душераздирающие, сердечные.

Глава шестая

– Анхен, – умолял Бирон императрицу, – ради нашей святой любви, пожертвуй выгодами политическими, позволь я сына нашего Петра женю на племяннице твоей мекленбургской.

Анна Иоанновна хваталась за голову:

– Опять ты за старое? Не мучь меня… Ведь маркиз Ботта затем и прибыл из Вены, чтобы брак племянницы моей ускорить.

Но герцог в этот раз был особенно настойчив.

– Согласна я, – сдалась императрица. – А ты у племянницы согласия спрашивал? Она-то как решит?..

Если уговорил зрелую женщину-императрицу, то хватит умения обломать и девочку-принцессу. Анна Леопольдовна во время разговора с герцогом стояла в страшном напряжении, сжав руки в кулачки, и кулачки побелевшие держала возле плоской груди.

– Ваше высочество, – издалека начал Бирон, – ситуация в политике возникла такова ныне, что брак ваш с принцем Антоном, ежели он случится, укрепит альянс России с Австрией и удержит Вену от выхода ее из войны с турками…

– К чему все это? Мне и дела нет до войн ваших.

– Будем же откровенны. Мне, как и вам, тоже не по душе жених ваш. Я понимаю ваше презрение к нему…

– За принца Антона я не пойду! – выпалила девушка.

– Надеюсь, вы решили это здраво и твердо?

– На плаху лучше! – отвечала Анна Леопольдовна.

Получив ответ, какой и нужен был для него, Бирон осторожно доплел паутину до конца:

– У вас есть выбор. С императрицей я уже договорился. Она со мной согласна… да! А выбор ваш отныне таков: или вы, презрев нелюбовь свою, все-таки выходите за Антона Брауншвейгского…

– Я уже сказала, что не пойду за лягушонка венского!

– Или станете женой моего старшего сына Петра, который от меня получит корону герцогства Курляндского. Вдвоем вы править станете Россией и… Курляндией!

Анна Леопольдовна словно прозрела:

– Ах, вот как… Но я-то знаю, чей это сын. И знаю, кто вы сами! Если б не слабость моей тетушки, вы бы так и сгинули в Митаве неприметно… – Анна Леопольдовна кричала прямо в лицо ему: – Тому не бывать, чтобы я за вашего сопляка пошла!

Бирон погрыз ногти и, обозлясь, сказал:

– За что вы на меня накинулись? Я вас не гоню палкой под венец с сыном. Вот и ступайте за Антона, благо он фамилии старой.

– А за прыща фамильного я тоже не пойду.

Кулачками растворила она перед собой половинки дверные и жестом этим безумным напомнила Бирону ее мать – Дикую герцогиню Екатерину Иоанновну Мекленбургскую.

– Дура! – пустил ей вдогонку Бирон. – Да я из тебя, нога твоя собачья, еще колбасы фаршировать стану…

Остерман об этом узнал. Узнал и пришел в ужас. Незаконный муж русской императрицы, Бирон теперь желал стать законным дедом русского императора. Случись такое – и Остерману конец. Но этого сватовства Бирона боялись не только немцы – русские люди тоже не хотели допустить кровосмешения герцога

с отпрысками династии Романовых.

…

Волынский уже пронизал жизнь придворную своими соглядатаями: служители при дворе ему обо всем доносили (кто за подачки, а кто и так – из любви к сплетням). Недавно кабинет-министр удачно привил шпионов своих и к «малому» двору принцессы. Средь немецких служителей появились в штате принца Антона русские хваты-лакеи. Защебетала камер-юнгфера Варька Дмитриева, хитро вошедшая в дружбу с фрейлиной Юлианой Менгден… Волынский сразу проник в суть бироновских интриг и был напуган ничуть не меньше Остермана. Исчислить все бедствия России, какие возникнут от связи Анны Леопольдовны с сыном герцога, невозможно! Уж лучше тогда принц Антон – этого мозгляка и свалить будет легче! Бирон сейчас поперся к власти напролом, и Волынский тоже действовал напролом…

Анну Леопольдовну кабинет-министр застал притихшей и подавленной. Ее характера флегматичного хватило только на одну вспышку гнева. Надави сейчас на нее Бирон посильнее, и она отступит перед ним, безвольная и вялая, как тесто. Вот и опять нечесана, халат затасканный на плечах принцессы. А на тощей груди видна цепочка золотая, на которой колеблется медальон таинственный. Открой его ключиком секретным, а под крышкою узришь красавца пламенного, жулика саксонского – графа Морица Линара.

– Плачу, – жаловалась она Волынскому. – Замучили меня. Вот хотела книжку почитать, как люди другие живут, так еще пуще расстроилась: все любовники, почитай, счастливо пылкостью наслаждают себя… одна только я несчастна!

Артемий Петрович подумал и вдруг прищелкнул пальцами. Прошелся по комнатам гоголем. Каблуки туфель министра отбили пляс залихватский. От пряжек брызгало сверканием камней драгоценных. Кафтан он скинул, рукава широкие сорочки его раздулись. Ежели великий политик Ришелье плясал перед дамами ради идеалов высоких, то почему бы и Волынскому не сплясать?.. Хорошо ходили ноги вельможи, полвека уже прожившего, любовь и нелюбовь знавшего. Трещали под министром паркеты дворцовые. В шкафах тренькали хрустали богемские и чашечки порцеленовые. Плясал Волынский перед

принцессой мекленбургской, которая ему в дочери годилась. Ясный летний день сквозил в окнах зеленых, тянуло с Невы ветром… Хорошо!

И улыбнулась ему Анна Леопольдовна:

– Ой, Петрович, с тобой всегда ладно… Утешил меня.

Он вывел ее в сад, где убеждал проникновенно:

– Коли вас политикой губливают, так вы политикой и защищайтесь. Когда же породите сына от принца Антона, вы титулом его императорским, словно щитом, ото всех невзгод себя оградите. Но ежели, – припугнул девушку Волынский, – ежели за Петра Бирона пойдете, тогда… тогда беды не миновать! Быть бунту общенародному, кровавому. Гнев русский противу герцога и на вашу бедную голову обратится.

Принцесса сжала в руке цепочку от медальона:

– Не возьму в толк, Петрович: племянница я самодержицы российской, а любить того, кто желанен, не дают мне.

Волынский со значением шепнул на ушко ей:

– Знаю, какому красавцу сердце свое нежное вы отдали. Через брак с Антоном и свободы добьетесь для любви свободной…

Поздно вечером, когда Анна Леопольдовна играла в карты с Юлианой Менгден, из темноты сада выросла фигура женская. Это явилась дочь великого инквизитора – Катька Ушакова, еще молодая особа, с лицом квадратным, жгуче горели глаза на ее рябом лице.

– А я от герцога, – сказала Ушакова, озираясь. – Герцог с императрицей спать не ложатся… Ждут! Последний раз изволят спрашивать: пойдете вы за сына герцога Курляндского?

Но теперь, после разговора с Волынским, принцесса укрепилась в своем решении и отвечала посланнице с легкостью:

– Я жениха и без герцога давно имею. Так и передай тетушке, что иду за принца Антона и свадьбы с ним сама прошу скорой…

Ушакова вернулась во дворец, доложила об ответе принцессы. Анна Иоанновна, держась за поясницу, тронулась в спальню.

– Ну вот! – сказала Бирону. – Слава богу, хоть к ночи, но все же с этим разобрались… Устала я. Пойду-ка спать…

Ушла. Через весь дворец, потемневший к ночи, мимо зеркал высоких, мимо недвижных арапов, мимо фонтанов комнатных, что струились в зелени висячих садов, Бирон поднялся на башню.

– Еще не все потеряно, – с угрозой произнес он, задирая к небу трубу телескопа. – У меня осталась в запасе такая бомба, как Елизавета Петровна… Девка эта курносая имеет на престол русский прав больше, нежели пищалка мекленбургская. А дочь свою Гедвигу я выдам за племянника Елизаветы, принца голштинского… Ну-ка, звезды! Рассыпьте мне ответы на все вопросы мои.

Течение светил на небосклоне сложилось так, что 3 июля надо было ждать страшного злодейства в широтах северных. Уж не готовится ли нападение флота шведского на Петербург?

…

День 3 июля 1739 года выдался очень жарким…

Жених был одет в платье белого шелка, расшитое золотом. Длинные локоны распущены по плечам. Антон Брауншвейгский выступал, как в погребальной церемонии, глядя в землю, и казалось, только не хватает свечи в его руках, чтобы отправиться на кладбище.

– Это жертва, – заволновались дипломаты. – Вы посмотрите, до чего он похож на агнца, обреченного на заклание…

Невеста была принаряжена в серебряную ткань, и от самой шеи спереди платье было облито бриллиантами. Волосы ей с утра заплели в черные косы, тоже украшенные бриллиантами. Поверх прически Анны Леопольдовны приладили крохотную корону.

К новобрачным подошел венский посол маркиз де Ботта:

– Советую вам искренне любить друг друга.

– Не беспокойтесь за любовь, маркиз, – внятно отвечал принц Брауншвейгский. – Мы уже давно вполне искренне ненавидим друг друга… Молю бога, чтобы свадьба без скандала окончилась!

Ветер с Невы, бегущий из-за стрелок речных, прошумел деревьями. Жених взял руку невесты в свою.

– Сударыня, – сказал ей Антон тихо. – Мы приневолены один к другому политикой. Не амуры, а тягости ожидают нас.

– Вы мне противны, – прошептала Анна Леопольдовна.

– Смиритесь хотя бы на этот день, чтобы люди не смеялись над нами. Я не навязываю вам чувств своих, и про страсть вашу к саксонскому послу Линару извещен достаточно.

– Я не рожала от Линара, а вот вы, сударь, от развратной Доротеи Шмидт уже завели младенца, – упрекнула его невеста.

– Оставим этот спор. На нас все смотрят…

Двинулись!

Дипломаты в процессии не участвовали, ибо не могли решить, кому шагать первому, а кому следом. Зато придворные тронулись на этот раз без свары. Великолепный экипаж открывал шествие свадебного поезда, а в нем сидели сыновья герцога – Карл и Петр Бироны; по бокам от них шли скороходы царицы, тела которых накануне столь плотно обшили черным бархатом, что они казались

голыми неграми (в бархате оставили только дырки для глаз).

За ними прокатил цугом сам Бирон, – мрачен он был сегодня, как дьявол на распутье! Бежали перед ним гайдуки, пажи и целый легион лакеев. Обер-камергер двора русского, герцог теперь имел своих камергеров, которые рысили рядом с его каретой. Невский проспект заполнили цвета курляндских штандартов.

Следом за Бироном показалась императрица с невестой. Сидели они, как сычи, одна напротив другой. Анна Иоанновна нарядилась сегодня скромнейше. Но «скромности» ее платья никто не заметил, ибо оно сплошь было обшито жемчугами.

За императрицей, воззрясь на толпу неистово, прокатила горбатая Биронша. В этот день от множества рубинов была она вся ярко-красная, будто сгусток крови, и платье рубиновое весило целых шесть пудов, так что ходить горбунья от тяжести наряда не могла, ее таскали на себе лакеи, а она – пыжилась…

И закрестились зрители в толпе простонародной, когда увидели дщерь Петрову. В самом хвосте процессии ехала цесаревна Елизавета Петровна, в платьице розовеньком, вся в ленточках каких-то… Улыбалась! Она улыбаться умела, и это ей всегда шло на пользу.

Долгое шествие кортежа, суматоха устройства свадьбы начались в 9 часов утра, а закончили лишь к 8 часам вечера. Почти половину суток придворные провели без пищи, на адском солнцепеке.

– Дайте сжевать хоть кусок какой, – взмолилась императрица. – Ноги меня уже не тащат, совсем сомлела…

Биронша в многопудовой робе провисла на руках гайдуков. Колом торчал из-под рубинов ее острый горб; по лицу герцогини, размазывая пудры и мази, обильно стекал пот, – тоже изнемогла. Всех звали к столам. Анна Иоанновна восседала отдельно – под тенью балдахина. Венгерского холодного отпив, она сказала:

– Сейчас молодых устрою и вернусь к гостям…

Мужчинам запретила она за собой следовать (ее окружали лишь доверенные женские особы первых трех рангов). Гурьбою они прошли в браутс-камору, где застали Анну Леопольдовну – плачущую. Брачная комната была обита зеленым штофом с золотыми галунами. Подле кровати умостился столик с конфетами и напитками. Десерт в тарелках был искусно выложен наподобие крепости. Живописцы потрудились над его составлением, изобразив из кремов «гениусов любви» (купидонов), которые бесстрашно десертную цитадель атаковали. Минерва при этом великолепии держала мармеладное сердце, сахарной стрелой насквозь пробитое. И была сделана соответствующая надпись на торте: «A cette nuit l’attaque», что в переводе на русский означает: «В эту ночь состоится нападение».

Понимать надо так: нападение на невинность девичью…

– Не реви, дура, – сказала царица. – Раздевайте ее!

Молодую обнажили от одежд праздничных, облачили в ночной капот из белого атласа, украшенный голубенькими кружевами. Анна Иоанновна звучно и сочно поцеловала племянницу и велела:

– Где принц? Может войти. А мы оставляем вас, дети…

Она снова вернулась к столу и много пила. Был уже третий час ночи, князь Куракин давно под столом валялся, веселье угасло, не успев родиться, гости устали, и тут появился Ушаков. Инквизитор стал нашептывать Анне Иоанновне что-то на ухо. Императрица резко встала, вышла из-под балдахина.

– Что там еще могло случиться? – спросил ее Бирон.

– Сама разберусь…

Ушаков плелся следом за царицей, докладывая:

– Бродит по саду, а в браутс-камору не идет…

Летний сад был темен, от Невы свежело. В гуще подстриженных боскетов вспыхивали китайские фонари. Мелькнуло за кустами белое платье принцессы –

девушка явно пряталась. Анна Иоанновна широкими шагами, как солдат, перемахивала через клумбы, давя цветы и робких светляков… Настигла племянницу в кустах:

– Ты чего тут шляешься, ежели с мужем быть надобно?

– Не пойду я к нему, – ответила Анна Леопольдовна. – Он мне мерзостен. Хотели брака, брак заключен. Но люблю я другого.

Анна Иоанновна повернулась к Ушакову:

– Андрей Иваныч, скройся… мы сами столкуемся.

Императрица безжалостно стегала невесту по щекам.

– Мне наследник нужен! – приговаривала. – Наследник престолу российску! Ступай к мужу и ложись в постель, дуреха…

Анна Леопольдовна, ожесточаясь, отвечала:

– На плаху тащите меня! На плаху лучше….

Тогда императрица вцепилась ручищами в ее четыре косы, и посыпались в мокрую траву бриллианты, которые сразу померкли в ночи средь светляков природных. Анна Иоанновна силой потащила невесту за косы в браутс-камору. Подзатыльником затолкала девушку внутрь спальни, где на постели, одинок, сидел принц Антон.

– Зачните с богом, – напутствовала царица обоих. – А коли еще раз сбежишь, – пригрозила племяннице, – так я, видит бог, солдата с ружьем к постели вашей приставлю… Ну!

А утром ее сгибало от боли в дугу.

– Где болит, ваше величество? – спрашивали медики.

– Вот тут… ох, ох! За што наказал господь?

– Вы вчера, ваше величество, – заметил суровый Фишер, – напрасно много выпили вина. Учитесь мудрости воздержания…

Жано Лесток радостный прикатил в Смольную деревню.

– У ея величества, – сообщил цесаревне, – опять колики. Фишер сказывал, что урина нехороша… Готовьтесь!

Елизавета Петровна отвечала:

– Да не болтай, Жано, отрежут вот язык тебе. Да и мне пропадать с тобою. Вот зашлют в монастырь, а я девица еще молоденька, мне погулять охота… порезвиться бы еще всласть!

…

За околицей деревни Смольной забряцали бубенцы, раздался скок подков лошадиных. К дому Елизаветы подкатил герцог Бирон, и цесаревна онемела в робости. А герцог преклонил колено надменное, рухнул перед девкой в поклоне нижайшем.

– Бедная вы моя, – произнес он с чувством. – Как вас обманывают люди… Доколе будет продолжаться несправедливость эта?

Елизавета покраснела:

– Не разумею, о чем говорите вы, герцог высокий.

Бирон раболепно целовал подол ее платья:

– Знаю, кто передо мною… Сама дочь Петра Великого, единая и полноправная наследница престолу в империи Российской! Но ее оставили в стороне. Сейчас

случают на потеху миру гниду мекленбургскую с лягушкой брауншвейгской и ждут, мерзавцы, что родится от этой ненормальной случки… Нет, – продолжал герцог, – я не могу долее молчать. Душою исстрадался я за вас…

Бирон встал с колен и заговорил деловито:

– Я предлагаю вам самый выгодный вариант из всех возможных. Становитесь женою сына моего Петра и ни о чем больше не думайте. А я найду способ, чтобы ублюдок мекленбурго-брауншвейгский престола русского и не понюхал. Вам, – сказал герцог, – предопределено судьбою Россией управлять… Ваше высочество! Красавица! Богиня! Вы сами не знаете, какое гомерическое счастье ожидает вас… Ну, говорите, – согласны стать женою сына моего?

Елизавета в унынье руки опустила вдоль пышных бедер:

– Таково уж счастье мое гомерическое, что я вся в женихах еще с детства купаюсь. Даже епископы лютеранские руки моей не раз просили! Да вот беда… женихов полно, только мужа не видать! Петрушка ваш мальчик еще. На што я ему, такая…

– Подумайте, – сказал ей Бирон. – Если не желательно иметь сына моего мужем, то… Посмотрите на меня: чем я плох?

Елизавета покраснела еще больше. Ай да герцог!

Глава седьмая

В марш 1739 года вступили с винтер-квартир полки такие – Киевский, Санкт-Петербургский, Нарвский, Ингерманландский, Архангелогородский, Сибирский, Вятский, Луцкий, Тобольский, Тверской, Каргопольский и Невский.

Воодушевлял бой барабанный. И флейты пели солдатам…

Крепит отечества любовь

Сынов российских дух и руку;

Желает всяк пролить всю кровь,

От грозного бодрится звуку.

Хорошее лето в этом году выпало, и что-то необыкновенное разливалось пред армией – в лесах, в степях, в реках отчизны. Какая-то радость, надежду будящая, чуялась в сердце воинском. А за солдатами шагали сейчас люди служивые – лекаря с аптеками, профосы с кнутами, трубачи с дудками, попы с кадилами, аудиторы с законами, гобоисты с гобоями, писаря с чернильницами, кузнецы с молотами, цирюльники с ножницами, седельники с шилами, коновалы с резаками, плотники с топорами, извозчики с вожжами, землекопы с лопатами, каптенармусы с ведомостями…

Литавры гремели, не умолкая!

Предводимая Минихом армия в самый разгар лета дружно развернулась и, топоча, пошла от Киева через земли Речи Посполитой, обходя – на этот раз – убийственные степи стороною.

К славе!

…

Обозы армии тащили за нею припасов на пять месяцев. Но армия вошла в места живонаселенные, где всякого довольства хватало. «Самой лучшей вол или хорошая корова ценою в рубль продавалось, а баран в гривну… и тако во оной изобильной земле, во время марша, ни какой нужды не имели». Гигантская армада России не могла здесь валить напролом, как это прежде в степях ногайских бывало, – опасались, чтобы не потравить обозами пашен, не истоптать копытами посевы крестьян польских.

– Выход один, – решился Миних. – Армию разбить в колонны, которым следовать параллельно, в дистанции порядочной, шляхи попутные используя, в дирекции генеральной – на Хотин!

Вторую половину армии русской повел Румянцев… Пошли. Сколько уже легионов славянских разбились об неприступные стены Хотина! Лишь единожды в истории королю Яну Собесскому, витязю удачи и отваги, удалось взломать эти камни и взять у турок не только бунчуки пашей, но даже священное Зеленое знамя мусульманства.

И вот дирекция дана – Россия следует на Хотин!

– Не робей, робята, – говорил Румянцев.

Топорами вышибали днища из бочек казначейских. Оттуда тяжело и маслянисто сочилось тусклое сибирское золото. Армия щедро расплачивалась за потраву случайную, за хлеба потоптанные. Шли дальше – с песнями шли солдаты, играла всюду полковая музыка, и засвечивало над ними солнце яркое, солнце славянское.

Это солнце стояло высоко… выше, выше, выше!

Армия топала по местам живописным, углубляясь в те края, где лежали когда-то земли древней Червонной Руси, – свет тот древний еще не загас, он освещал путь из вековой глуби…

– Шагать шире! – по привычке порыкивал Миних.

За рекою Збруч колонны вновь сошлись воедино, как ветви сходятся к верхушке тополя. Миних развернул свою армаду на юг, повел ее на Черновицы, и войска вступили в буковые леса, отчего и страна эта издревле называлась Буковиною.

– Мой умысел таков, – сказал фельдмаршал. – Обойти горы Хотинские и армию подвинуть к Хотину с той стороны, откуда турки нас ожидать никак не могут… Путь славен, но опасен!

Особенно опасно было следовать в узких дефиле с артиллерией и экипажами. Здесь, в разложинах крутогорья, в балках тенистых, турки могли силами малыми задержать любые легионы. Но они рассудили оставить дефиле без защиты; враг сознательно заманивал русских под самые стены Хотина…

Миниха навестил Румянцев.

– Эки тучи клубятся, – сказал он. – Черно все… Не пора ли нам, фельдмаршал, обозы свои бросить?

Миних распорядился усилить марш-марш. Вагенбурги отстали от армии. Появился шаг легкий, дерзостный, над землею парящий. Солдаты несли теперь на себе хлеба на шесть ден пути, по головке чесноку и фляги. Более ничего! Чтобы маршу не мешало.

– Хотин… – говорили они. – Скоро ль он?

После переправы через Днестр хлынули дожди.

– Потоп! Ой боженька, дождина-то какая…

Под шумным ливнем плясали кони. Молнии частые распарывали небосвод с треском, словно серую мокрую парусину. Река взбурлила и снесла мосты, быстро уносимые вниз по течению. Медные понтоны, столь нужные армии, уплывали в Хотин – в лапы туркам.

– Лови! Лови их! – суетились офицеры.

Казаки скинули одежду. Голые, поскакали на лошадях вдоль реки. Где-то внизу успели похватать понтоны, притянули их обратно. Река в своем грохочущем половодье расчленила армию Миниха на два лагеря. Вот опять удобный момент для турок, чтобы напасть и разбить русских по частям. Но враг не сделал этого, заранее уверенный в победе под Хотином.

На форпостах уже стучали выстрелы, внушая бодрость, словно колотушки сторожей неусыпных. Ночью гусары сербские почасту приволакивали сытых, хорошо одетых пленных, кисеты у которых были полны душистого «латакия». Однажды взяли гусары мурзу («у коего нога была отбита из пушки»), и Миних спросил его:

– Назови – кто стоит против меня?

Одноногий мурза трижды загнул свои пальцы:

– Пришли побить тебя сераскир Вели-паша со спагами, с ним белгородский султан Ислам-Гирей с татарами. И (да устрашится душа твоя!) славный Колчак-баша явился под Хотин, приведя сюда своих янычар-серденгести.

Миних развернулся в сторону толмача ставки:

– Бобриков, что значит «серденгести»?

– Это значит, что они головорезы беспощадные…

Шатер фельдмаршала был наполнен грохотом от падающих струй ливня. Миних откинул его заполог, и взорам открылся шумный боевой лагерь России.

– Смотри! – сказал он мурзе. – Разве плоха эта армия?

– Твоя армия очень хороша, – отвечал мурза. – Но стоит нам как следует помолиться аллаху, как она тут же побежит от нас и больше уже никогда сюда не вернется…

За пологом шатра мелькнуло круглое лицо Манштейна, адъютант скинул треуголку, отогнул ее широкие поля, выливая воду из шляпы. Потом шагнул к фельдмаршалу, и – на ухо ему:

– Мы окружены!

…

Где-то далеко, за потоками дождя, виднелась неприглядная деревушка, каких уже немало встретилось на пути армии.

– Как называется? – сердито справился Миних.

– Ставучаны, – отвечали ему.

– Вот безвестное имя, которое сегодня станет для нас или прозванием славы, или позора нашего… Сжать каре!

Вели-паша уже огородил себя редутами. Колчак гнал своих головорезов от леса, его «беспощадные» спускались с гор. Спаги проскакивали на лошадях через фланги русские, искрясь в сабельном переплеске. Громадные таборы татар и ногайцев Ислам-Гирея довершали картину плотного окружения.

Русские стояли в трех каре – посреди долины ровныя, войска российские утонули в цветочных лугах, где травы по грудь, все мокрые и пахучие, прибитые долгими дождями.

Их было мало! А врагов – тьма («как песок» они)…

Турки и татары давили со всех сторон. Не стало даже краешка малого в обороне, куда бы враги не напирали. Русская армия отныне уже не имела тыла, – всюду, куда ни глянь, был для них фронт, сплошной фронт, звенящий стрелами над головами, реющий клинками губительных сабель…

– Сжимай каре! – призывали офицеры.

В три жестких кулака стиснулись каре армии. Плотность рядов солдатских, давка мокрых крупов лошадиных, бешенство верблюдов, зажатых между лафетами, теперь были столь велики, что в теснотище этой не мог солдат нагнуться за уроненной пороховницей…

Миних созвал генералов.

– Ну, что делать нам? – спросил у них, дыша сипло.

Петушок уже отпел ему славу. А позор ставучанский ему приготовлен – за рядами бунчуков хвостатых зреет поражение небывалое. Из ножен Миниха с певучим звоном вылетела шпага. Он приник губами к ее лезвию, прохладно мерцавшему:

– Великий боже! Дай мне смерти легкой… Господа генералитет, кто скажет мне, что предпринять нам сейчас?

– Ломить вперед, – отвечал Аракчеев. – Басурман много, сие так, но сила русская есть сила необоримая.

– Я за то, что сказал генерал Аракчеев, – вставил Румянцев. – Хотя бы едина горушка для артиллерии, ибо турки все верхушки обсели… Эвон отсель виднеется одна за болотом. Ежели в болото покидать фашиннику поболее, то пушки наши пройдут…

Лицо фельдмаршала было тусклым. Оно оплывало по щекам лиловым жиром. Нос Миниха бугром торчал среди суровых брылей, подпертых воротником мундира. Глаза его блуждали.

– Аракчеев, повтори, что сказал.

Генерал двинул складками низкого лба.

– Ломить напрямик! – повторил он. – Щи да каша, сухари да квасы – сила наша… Вот силой и возьмем турчина!

Три каре, как три кулака, елозили по равнине, по мокрым цветам, под ногами солдат звенели ручьи. Били по ним пушки турецкие. Били они час. Били они второй. И убили только одну лошадь.

– Чудаки! – говорили солдаты. – Туркам только бы саблей и махать, а прицелиться терпежу не хватает… Не то что наши!

Русская артиллерия клала ядра – точнейше. Бахнет – и летят турки из седел вверх ногами. Еще раз шарахнут из мортиры пушкари – бомба пропылит, рассеивая пред собой струи ливня, и уж обязательно башки две-три снесет с плеч вражьих…

Миних заключил консилиум словами:

– Кабинетом государыни нашей битва при Ставучанах не предусмотрена. Генеральная дирекция остается прежней – на Хотин! Но коли на пути нашем Ставучаны встретились, то через эти вредные Ставучаны мы и пойдем на Хотин!

…

Четыре года войны и походов не истощили сил армии, не убили в ней духа к победе. Сейчас, обложенная стотысячным войском сераскира, эта великая армия нерушимо стояла на равнине, средь моря душистых цветов. Стояла – не сетуя, не волнуясь, ожидая лишь одного – приказа…

– Ну, чего там начальники наши? Договорились?

Офицеры сходились кучками, переговаривались:

– А турка пока не особо жмет.

– Чего жать? Мы же – в кольце у них.

Грамотеи знающие припоминали:

– Кольцо таково же было единожды. Под Прутом, когда турки армию нашу, заодно с Петром Великим, на капитуляцию вынудили. Того позора России не забыть, а второму позору уже не бывать…

– Хоть семь пядей во лбу, а выхода нет.

– Ломить станем. Проломим.

– Куда проломим-то?

– А хоть в ад… Обрушим стенку турецкую!

В войсках возникло движение. Тащили доски и тяжелые шанц-коробы. Солдаты гатили болотистые берега ручьев, за которыми начиналось взгорье. Кричащие канониры покатили пушки через гати – выше, выше, выше… Пальба мортирная вселяла веселость.

– Пошли! – махнул жезлом Миних. – Раскинь рогатки!

Три каре разом ощетинились рогатками. Колчак-баша послал вперед «беспощадных». С воем диким налетали они на русских, но лошади отпрядывали с разбегу перед стенкою каре, из которой торчали острые колья. Фальконеты добивали сброшенных с седел; из гущи войсковой, прямо из травы, отчаянно залпировали бойкие «близнята»… А в центре русской армии двигалась кордебаталия под командою генерал-аншефа Александра Румянцева. Со шпагою в руке шел генерал впереди солдат. Шляпу на глаза себе нахлобучил, и дождь обильно стекал с полей треуголки.

– Не спеши! – говорил он солдатам. – Все там будем…

Мерно идут солдаты в кордебаталии: шаг! шаг! шаг!

Визг янычарский был нестерпим. Полыхали клинки – в воде дождевой, в крови людской. Вот он, русский, – руби его. Но прямо в грудь янычару уперлась рогатка длиною в дерево, и острие ее жестью обито. А русский (из-за телеги каре) прицелился – трах!

– Еще один спекся…

На левом фланге грудью перли на врагов молодцы Аракчеева, и был генерал невыносимо страшен в бою. Жесткие волосы спадали ему на лоб, глаза свелись в две жгучие точки. И сейчас генерал Аракчеев был очень похож на тех же самых татар, противу которых он пер, противостоя врагу в ужасном единоборстве… Мушкеты били, как пушки, в страшной отдаче ломая ключицы солдатам. В руках фузилеров надсадно трещали фузеи, которые секли противника острыми кусками свинца.

– Ломи! – орал Аракчеев. – Только ломи, больше ничего и не надо от нас… Противу лому русского никто не устоит!

Сражение из стихии сопротивления уже обращалось в организацию боевого порядка. Определились фланги и направления. Теперь каждому стало ясно: иди на вершину горы, где засел Вели-паша, и сбрось его оттуда вниз, – сим победиши!

Восторг внезапный ум пленил –

Ведет на верьх горы высокой.

Миних больше и не командовал. Войска сами распоряжались своим маневром. Держа под локтем шпагу, будто трость, фельдмаршал шагал в центре каре. Вокруг него падали убитые. Из спин солдатских торчали хвосты стрел татарских. Великий честолюбец, он переступал через мертвецов столь же легко, как в трактире трезвый брезгун перешагивает через пьяных… Был пятый час пополудни, когда Колчак послал на русских ораву янычар и конницу спагов. На миг они остановили движение каре, но так и не могли взломать их стойкой крепости. Толпой нестройной колчаковцы выбегали из атаки, и мушкеты русские поражали их сотнями… Каре снова тронулись!

Три чудовищных дикообраза, могучи и громадны, ползли через холмы, окутываясь дымом, – все выше, выше, выше… Русские шли в гору – туда, где ставка сераскира, где ретраншементы вражьи, где реют бунчуков хвосты кобыльи. За шагом – утверждение шага.

Шаг сделал, утверди его выстрелом – и дальше!

Кордебаталия – во главе армии. Непоколебима!

Во главе кордебаталии – генерал-аншеф Румянцев.

Шаг – выстрел.

Шаг – выстрел.

Шаг – выстрел…

Так можно пройти всю Европу.

– Ломи!

Грохот. Русская артиллерия работает неустанно.

Она бьет на ходу. Прямо с колес. Сама в движении.

Пушки и мортиры следуют вместе с каре.

Они сокрушают все, что мешает армии ее маршу вперед.

А позади пусть догорают Ставучаны – буковинская деревушка, которая уже сегодня вписывается в историю русской славы.

Россия-мати! свет мой безмерный!

Позволь то, чадо прошу твой верный.

…

Виват Россия! Виват драгая!

Виват надежда! Виват благая!

…

Сераскир Вели-паша, на горе сидя, дождался Колчака.

– Никто, – сказал, – не осудит барса, если он ушел живым из схватки со львом… Мы сегодня плохо молились аллаху!

– Кысмет, – ответил Колчак, словно плюнул.

Вели-паша из кувшина ополоснул ладони розовой болгарской водой. Три мальчика-грузина подали ему полотенца, расшитые валашскими узорами. Под грохот пушек мысли сераскира текли лениво, как степная река… Человек бессилен, если обстоятельства против него. Каре русские нерушимы, и они уже подбираются к вершине, где он сидит на подушках, за рядами ретраншементов. Надо принять точное решение, и Вели-паша его принял:

– Пошлите гонца в Хотин – пусть вывозят мой гарем…

«Конечно, – размышлял он, – можно бы спасать и пушки. Но аллах (да будет вечным его величие) создал женщину гораздо приятнее пушки. А потому и спасать надо сначала не пушки, а женщин…»

– Поджигайте лагерь, – велел сераскир.

Он легко и свободно поднялся с подушек. Мальчики умаслили ему рыжую бороду благовониями египетскими. Ах, как жаль, что сегодня любимая жена уже не понюхает его бороды… Что делать? В мире ведь все так непрочно. «Кысмет!» Колчак, звеня кольчугой, видел с холма, как тяжело вползают в гору русские каре. Они лезут вместе с артиллерией, огня не прекращающей. Казалось, гяуры сошли с ума: они лезут в гору заодно с фургонами, с аптеками, там ржут лошади, мычат быки и ревут коровы, над русскими каре торчат, щеря желтые зубы, озлобленные морды верблюдов…

К нему подполз толстый серденгест, тихо воя.

– Ты почему не в крови? – спросил его Колчак.

Наступив на янычара ногой, он одним взмахом сабли легко, словно играючи, отделил голову «беспощадного» от его тела.

– Если изранен я, то все должны быть в крови…

Вели-паше подвели коня. Он вдел ногу в стремя.

– Лев не виноват, – сказал сераскир, – если муравьи прогрызли ему шкуру… Я еду на Хотин.

Разминая тяжкой мощью вражьи ретраншементы, на лагерь турецкий наползли, раздавливая его всмятку, три русских каре.

Отвага солдат – их мерная поступь.

Решимость офицеров – их утверждение поступи.

Ставучаны открывали Хотин…

«И тое славное дело 1739 года, августа 17 дня, в пятьницу, после полудни благополучно скончалось и с нашей стороны зело мало урону было…» Вот так и надо воевать!

…

Турки покинули ставку столь поспешно, что даже палатки оставили нетронуты. Входи туда – еще дымится кофе, еще не загас жар в пепле табачном. Багаж был брошен – преобильный, пестрый, весь в клопах и блохах. На поле боя Ставучанском остались под дождем куртки и шаровары янычар бежавших. Все брошено турками – мортиры, пушки, арбы, лошади, припасы, трубы и барабаны военных оркестров…

– На Хотин! – радовались русские. – Идем немедля!

Было раннее утро, когда в подзорных трубах офицеров обрисовались генуэзские башни Хотина, внутри которых были скрыты глубокие колодцы. Виделся русским дивный город, где белели в садах прекрасные здания, а возле бань взметывало струи прохладных фонтанов. Хорошие мостовые пересекали Хотин, смыкаясь возле крепости, фасы которой были целиком вырублены в скалах…

– Тут можно шею сломать, – говорили офицеры.

Миних послал Бобрикова с призывом к капитуляции. Но Вели-паша уже бежал из Хотина, увлекая за собой армию. В крепости остались лишь ага янычарский да Колчак со своим гаремом. Баша с агой отвечали Миниху, что крепость они сдадут. Но Колчак боялся, что по дороге к дому валахи или молдаване убьют его. Бобриков доложил, что Колчак просит защиты у русских для своей особы.

– Конвой ему дадим, – ответил Миних, хохоча. – Только в иную сторону поедет Колчак – в Россию…

Драгуны махом перескочили через предместье города, шапки их выросли под скатами глясиса. Ворота неприступного Хотина разъехались, из них на пегом жеребце вынесло Колчака.

– Неужели вы унизите себя до такой степени, что станете пленить нас с женами нашими? – спросил он Миниха.

Но гарнизон Хотина изъявил желание сдаться в плен с женщинами вместе. Мимо русского лагеря, визжа колесами, прокатили арбы обозные. Поверх тюков и тряпья разного сидели, судача о русских, глазами по сторонам стреляя, бойкие жены янычарские. А рядом с арбами шагали их суровые повелители. Каждый из них бросал на землю ружье, срывал с пояса саблю…

Колчак вручил Миниху связку ключей от города.

– Русских стало не узнать, – сказал он, утихнув. – Раньше десять турок гнали их целую сотню. А теперь сотне турок не справиться с одним русским…

Богатая сабля Колчака воткнулась перед русскими в землю, вся затрепетав, как лист осоки под ветром… Баша признался:

– Правоверный не пьет вина. Но если победители в чистую воду капнут вином, то я сегодня не откажусь осквернить себя…

Миних повернулся к Манштейну:

– Сделай наоборот: капни воды в вино и дай баше.

Солдаты гвардии повели через Польшу на родину обоз небывалый: жующий, поющий, хихикающий в рукава, строящий конвоирам глазки. Рядом с женами хмуро шагали в Россию янычары. Многие из них уже не вернутся обратно. Русская провинция примет их в свою жизнь, русская кровь, густая и сильная, растворит в себе кровь янычарскую, и внуки этих янычар уже не будут помнить, что деды их были когда-то «беспощадными»…

– Виктория! – Миних уселся на барабан, уплетая кусок горячего мяса, который обжигал ему пальцы. – Через Днестр перекинуть мост. Теперь можно идти нам и

голыми руками брать Молдавию…

Дождь кончился. Наступил тихий и теплый вечер. Плоды зрели в садах цветущих Хотина, тяжелые и благодатные. Солдаты устало присели на землю, и в тишине мирной услышали они, как миллионы цикад и кузнечиков запевают в обширных полянах, где полыхали желтые лилии, где зацветали стыдливые тюльпаны.

Вот и все. Победа пришла.

Глава восьмая

Да здравствует днесь императрикс Анна,

На престол седша увенчанна…

Вот из-за этой «императрикс» вся жизнь Тредиаковского сложилась весьма печально. Мало того, что сыщики из Тайной канцелярии усмотрели в слове латинском «уронение титула», мало того, что читателей невинных за стихи его пытали, так еще и поэта власти в подозрении оставили, яко афеиста-безбожника… Последние годы Василий Кириллович, что зарабатывал, все тратил бесплодно. Поэт скупал тиражи первой своей книжицы «Езда в остров любви», а книги сжигал в печке, кочергой их помешивая… Слово «императрикс», в огне корчась, сгорало.

Сколько он сочинял про любовь, а она – всемогущая! – не могла поразить его сердца. Но вот влюбился поэт с первого взгляда и занемог в усладительной сердечности. «Аманта» его была женою солдата полка гренадерского. И солдат сей, из казармы воротясь, ежевечерне кулаками ее лупливал, чтобы она себя не забывала. А утром Наташка (так звали героиню романа) в огороде беспечально песни распевала. При этом пении профессор элоквенции чувственно воздыхал, стоя в тени забора, не смея огород с овощами перезрелыми пылко навестить…

Солдатку ту бойкую решил он погубить стихами амурными и читал иногда – через забор – с завываниями приличными:

Вся кипящая похоть в лице его зрилась,

Как уголь горящий все оно краснело.

Руки он ей давил, щупал и все тело.

А неверна о всем том весьма веселилась!

Велика сила подлинного искусства: Наташка покинула огород с огурцами и репой – бежала от солдата под кров поэта, под сень лирики его и нищеты праведной. Остался солдат полка гренадерского в доме на стороне Выборгской – одинок, как перст, имея при себе ружье, пулей заряженное, и штоф водочный стекла мутного. Ходил он по утрам с ружьем в казарму, где артикулы разные вытворял, а вечерами шлялся со штофом в заведения питейные.

У тоски своей зеленой часто спрашивал гренадер:

– Это как же так? Опять же, ежели она так, то я-то как?

Да. Можно солдату посочувствовать (опять же стихами):

И хотя страсть прешедша чрез нечто любовно

Услаждает мне память часто и способно,

Однак сие есть только

Как сон весьма приятный,

Кого помнить не горько,

Хоть обман его знатный…

– Убью, стерррва-а, – рычал солдат над штофом пустым…

С Выборгской стороны повадился он навещать по ночам остров Васильевский. Вышибал солдат двери жилья поэтического. Наташку свою богом попрекал, обещая с жалования повойник ей справить, если от поэта уйдет. Тредиаковский в ночи осадные сидел ни жив ни мертв. Наташка тоже по чердакам пряталась. А снаружи бушевал солдат, и дверь плясала под могучим плечом гренадерским.

– Бога ты помнишь аль нет? – спрашивал он с улицы.

Под утро, обессилев в мрачном протрезвлении, солдат снимал осаду, ретировался в казармы. Чета любовная ложилась досыпать на тощей перинке. Солнце, забегая в окно с чухонской Лахты, освещало парик поэта, распятый для сохранности на чурбане. Солнце заглядывало на дно котла, в котором кисла вчерашняя каша с грибами-маслятами. Маленький котенок нежной лапкой давил мух на подоконнике, прижимая их к стеклу.

– Наташенька ты моя… светик мой сладостный!

– Васенька, кормилец ты мой ненаглядный!

Так и жили. Было меж ними согласие полюбовное. Словно подтверждая недобрую славу афеиста-безбожника, Тредиаковский о браке церковном не помышлял. От жизни творческой поэт усталости никогда не ведал: садился за стол смело – работа его не страшила.

Жизнь! Вот ее, подлой, он побаивался.

«Императрикс» пугала поэта, словно жупел.

В пламени печи корчились книги. Он жег их и плакал.

Тредиаковский еще не знал, бедняга, что слава его умрет вскорости, когда он будет еще полон сил и замыслов. Ставучаны и Хотин подкосили его… Беда пришла издалека.

Поражение пришло от победы!

…

Из недр земли Саксонской выходили в духоту ночи рудокопы с лампочками. Они строились в шеренги, нерушимой фалангой текли по улицам Фрейбурга, их шаг был тяжел и жёсток. В линии огней, принесенных из глубин земли, мелькали белки глаз, видевших преисподнюю тверди. Город наполнялся миганием шахтерских лампочек, которые разбегались и строились, заполняя древние

улицы, сжатые в узостях тупиками.

Впереди всех шагал рудоискатель с волшебной вилкой – ивовым прутиком, на конце расщепленным. Торжественно выступали, одетые в черный бархат, мастера дела подземного – бергмейстеры и шихтмейстеры. Шли берггвардейцы с факелами в руках, и пламя освещало подносы, на которых несли шахтеры богатства земли человеческой. Между горок серебра и меди, руд оловянных и свинцовых высились пирамиды из светлого асбеста. В бутылях несли, словно штандарты, купоросное масло. Ликующе звенели над Фрейбургом цитры и триангели. А на дверях домов и церквей, даже на могилах кладбищенских – всюду кирки, скрещенные с ломами: символы каторжного труда. Над столицей горного дела часто слышалось одно слово: «gluckauf!». В слове этом все надежды на счастливый подъем из недр земли, чтобы снова увидеть блестящие звезды жизни…

Среди рудокопов шагали и три солдата студента, а с ними верзила здоровенный – Мишка Ломоносов. Они прибыли недавно из Марбурга, и фрейбургские власти известили горожан через глашатаев с барабанным боем, чтобы никто денег русским в долг не давал, ибо отдать они неспособны. На житие выдавали студентам по талеру в месяц, а жить трудно – и бумагу купи, и пудру, и мыло. А на какие шиши газету почитаешь? Но сегодня, ради праздника, русские студенты, кажется, извернулись, и носы у них покраснели от пива. Виноградов с Рейзером несли на плечах молоты рудобойные, заигрывали с чопорными девицами, что стояли в раскрытых дверях домов.

Михайла Ломоносов песни-то пел, но весел не был: в Марбурге оставил он девицу добрую – Христину Цильх, дочь церковного старосты. Не как-нибудь оставил, а – беременной…

Дни студента проходили в трудах.

В лабораториях постигались науки «пробирные»…

Дороги в Европе гораздо лучше, чем в России, и Европа узнала о виктории русской армии намного раньше, нежели Петербург. Ломоносов перестал растирать вонючую сулему, воткнул в рот короткую трубку. Большие кошки шлялись по крутым черепицам Фрейбурга и не боялись свалиться. Он смотрел на них, а рука его невольно отодвинула ступку с сулемой… Ломоносов понимал, что

значат для России Ставучаны, он оценил сердечно взятие Хотина.

Будто нечаянно сложились первые фразы:

Восторг внезапный ум пленил –

Ведет на верьх горы высокой,

Где ветр в лесах шуметь забыл…

– Мишка, ты куда это собрался? – спросил Виноградов.

– Не мешай, Митя. Пойду…

Он шел по улицам, рассеянно задевая прохожих.

Только бы не расплескать восторг на улицах Фрейбурга!

Не Пинд ли под ногами зрю?

Я слышу чистых сестр музыку!

Пермесским жаром я горю,

Теку поспешно к оных лику…

Только бы донести сосуд поэзии до стола, до пера.

Златой уже денницы перст

Завесу света вскрыл с звездами;

От встока скачет по сту верст,

Пуская искры, конь ноздрями…

Дома он отодвинул со стола диссертацию физическую – с такой же легкостью, как отодвинул сулему в лаборатории. Его пленял восторг внезапный – восторг поэтический. Виделась ему гора под Ставучанами, на которую ломились три несокрушимые каре российских воинов.

Славянское солнце стояло в этом году высоко.

Выше… выше… выше!

Ломоносов штурмовал сейчас высоты парнасские, как солдаты штурмовали холмы ставучанские.

Он писал оду – «Оду на взятие Хотина», но писал ее Ломоносов совсем не так, как писали поэты до него…

Из памяти изгрызли годы,

за что и кто в Хотине пал,

но первый звук славянской оды

нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые

Камена русская взошла

и дивный голос свой впервые

далеким сестрам подала.

Через воинскую победу Ломоносов, гордый за свое отечество, выковал для себя победу поэтическую. Осенью «Ода на взятие Хотина» на курьерских лошадях уже катилась в столицу. В предуведомлении к ней Ломоносов сообщал академикам Петербурга, что оду его «преславная над неприятелями победа в верном и ревностном моем сердце возбудила». Холеные лошади русского посольства уносили вместе с одою в столицу и письмо Ломоносова «О правилах российского стихотворства». В этом письме молодой поэт бросал перчатку Тредиаковскому, вызывая его для боя на турнире поэтическом…

Христина Цильх благополучно принесла ему девочку.

Ломоносов в волнении выбежал на площадь Фрейбурга, близкую к часу вечернему. Женщины наполняли кувшины водой из фонтанов. Из-под Донатских ворот, от шахты «Божье благословение», возвращались в предместия

измученные рудокопы. Они снимали шляпы, приветствуя прохожих, и Ломоносов тоже кланялся им с обычным приветствием:

– Gluckauf! – говорил он шахтерам. – Gluckauf!

Он желал им благополучных подъемов из недр к солнцу.

И они тоже говорили ему «gluckauf», как бы советуя подняться еще выше. Высокие горы окружали старинный Фрейбург…

Высокие горы окружали Хотинскую крепость.

Высокие горы окружали жизнь человека…

Приходилось штурмовать. Иначе нельзя.

Учитесь побеждать!

…

От грома Ставучан и от славы Хотина зародилась новая поэзия России – поэзия Ломоносова и Сумарокова, и ей еще долго жить.

Она долго будет насыщать восторгами души русские, пока не раздастся глас свежий, глас ликующий – глас державинский.

Воспоет он тогда насущную радость жизни…

Люди, никогда не забывайте о Ставучанах!

Люди, хоть изредка вспоминайте о Хотине!

Глава девятая

Французский посол при султане маркиз де Вильнев (пройдоха и хитрец, каких не бывало) едва поспевал за турецкой армией. Турки гнали австрийцев перед собой, как волки гонят робкую лань. Истомленный жарой, искусанный блохами на ночлегах, де Вильнев с трудом нагнал армию визиря Эль-Хаджи под стенами Белграда. В азарте боевого успеха, жаждуя добычи, женщин и крови, янычары султанские готовы были мухами влезать на неприступные стены…

Повсюду только и слышалось:

– Лестниц! Дайте нам лестниц…

Белград уже горел, но лестниц для штурма у турок не было.

Австрийский император Карл VI от огорчения заболел. «Неужели, – вопрошал он у дочери, – блеск меча принца Евгения Савойского был последним блеском германской славы?..» Владыка лоскутной Римской империи умирал, и одно только заботило его сейчас – «Прагматическая санкция», этот небывалый ордонанс Габсбургов, чтобы сохранить все владения империи неделимы. Для этого власть должна перейти к дочери – Марии Терезии; матрона эта добродетельна и разумна.

– Она даже слишком разумна, – говорил император. – Моя дочь настолько разумна, что ни разу не изменила своему мужу…

Пышные формы молодой Марии Терезии были втиснуты в клещи корсета. Наследница великой императрицы Габсбургов всегда страдала от усердия, от порядочности, от материнства, от подозрений. Сейчас ее тоже заботила «Прагматическая санкция». Ведь стоит отцу умереть, как сразу появятся охотники раздирать на куски необъятное «Австрийское наследство». А у нее – семья, дети, муж, врачи, акушеры (надо и о себе подумать!).

Тайком от своего отца Мария Терезия вызвала из Венгрии верного ей шваба – графа Рейнгардта Нейперга.

– Где сейчас турки? – спросила женщина сурово.

– Они без лестниц у стен Белграда, но крепость укреплена достойно нами, и можно почесть ее сильнейшей в Европе.

– Белград надо сдать, – сказала Мария Терезия.

Нейперг не понял.

– Мне нужен мир… мне! – объявила женщина и выглянула за дверь (нет, слава богу, их никто не подслушивал). – Любой ценой вы принесете мне любой мир… Любой!

– Что значит «любой»? – обомлел Нейперг. – Неужели вы согласны отдать даже завоевания Евгения Савойского, принесшие славу нашей империи? Мы не имеем права заключать мир с турками сепаратно от России, нам союзной. Это кощунство было бы… И наконец, – заключил Нейперг, явно растерянный, – ваш отец-император отрубит мне голову, и он будет прав!

– Отец не успеет отрубить вам головы, – отвечала женщина. – Мой отец близок к кончине. – Она скромно всплакнула. – А я, вступив на престол, не стану рубить голову человеку, который оказал мне в трудный момент услугу… Сейчас я должна иметь руки свободными от этой войны. Когда я надену корону, мне и без турок хватит работы, чтобы драться с разбойниками, которые полезут в мой дом через все щели… Так поспешите, верный шваб! – наказала она графу. – И помните, что французы тоже торопливы.

Нейперг со слезами на глазах целовал ей руку:

– Я все сделаю для вас. Но не покиньте меня, когда я пойду на плаху. Я поспешу, конечно, в Белград. Но русские ведь тоже сильно спешат: их армия движется уже через Буковину.

– С русскими, – сказала Мария Терезия, – мне детей не крестить. Мне ли думать сейчас о русских? Вена и без того оказала много чести России, став для нее союзницей в этой войне.

…

Франция готовилась к осени, к дождям… Король заранее осмотрел в гардеробе Версаля свои зонтики. Босоногие крестьяне уже давили в провинции виноград. Скоро в подвалах королевства забродит легкомысленное и резвое вино, наполненное солнцем прошедшего лета. Кардиналу Флери исполнилось в этом году 86 лет…

– Ваша почтенная эминенция, – доложили ему, – человек, которого вы желали видеть, стоит сейчас на вашем пороге.

– Пусть этот человек переступит порог, – сказал Флери.

И хотя кардинал был очень стар, а посетитель слишком молод, Флери все-таки поднялся перед ним, ибо к нему входил сейчас лучший дипломат французского королевства. Это был Иоанн Тротти маркиз де ла Шетарди – жизнерадостный туринец, гуляка, мот и ферлакур, авантюрист и блестящий собеседник, стилист превосходный, проныра отчаянный.

– Как рад я видеть вас, безобразник! – сказал Флери, завидуя его красоте и молодости. – Садитесь ближе… Вы, наверное, уже извещены, что в Париже находится русский посол молдаванский принц Кантемир. Мы обещали Петербургу посла Вогренана, и он удачно разыграл роль, как в театре, затянув свой отъезд. Сегодня Вогренан дал ответ Кантемиру, что в Россию он не поедет, боясь жизненных неудобств… Дорогой мой маркиз! Ехать в Россию предстоит вам.

Они помолчали, исподволь наблюдая друг за другом.

– Мы долго ждали революции в России, – продолжал кардинал Флери. – Но скорее уж само небо рухнет на русских, сминая рабов и господ в одну лепешку, а восстания нам не дождаться. Пришло время проникнуть в разбухшее тело России иглой, а затем протянуть через нее французскую нитку… Кабинет царицы всю политику русскую строил исключительно на альянсе с Веной, которая нещадно спекулировала на союзе с наивной, но могучей Россией. А русским нет причин восторгаться этой дружбой! К сожалению, связь Вены с Петербургом сейчас упрочилась браком принца Брауншвейгского с племянницей царицы, принцессой мекленбургской…

– Версаль посылал на эту свадьбу комплименты?

– Нет, Версаль комплиментов в Петербург не посылал. Франция никак не может приветствовать этот брак, ибо он противен нашей интриге, направленной против Австрии. Подчинение же Остерманом русской политики интересам венским будет продолжаться и далее, пока австрийцы платят деньги Остерману и его прихвостням.

Шетарди спросил кардинала:

– А разве Версалю так уж трудно их перекупить?

– Совсем нетрудно! – согласился Флери. – Мы уже давно подсчитали: Франция должна платить Остерману в три раза больше, нежели он получает от немцев. Но, – прищурился кардинал, – мы подсчитали также, что игра эта не будет стоить свеч, сожженных за игрою, если Россию можно повернуть в другую сторону, совсем не производя таких затрат…

– Я согласен услужить королю, – сказал Шетарди.

– Но не думайте, – предупредил его Флери, – что вам предстоит только блистать среди русских красавиц. Франция посылает вас в Россию не только дипломатом, но и шпионом своим. Мало того, вы… заговорщик!

Шетарди лишь обрадовался этому предложению.

– Ваша эминенция, – сказал он, веселясь, – это как раз по мне. В чью пользу должен я устраивать заговор?

– Вам предстоит потрудиться на благо дочери Петра Первого, который долго добивался дружбы России с Версалем. Елизавета не забыла потуг отцовских и продолжает любовно относиться к нашему королю. Вельможи русские ее не поддержат, – за цесаревною стоят казармы, она авторитетна средь солдат и офицеров. Могу вас утешить: заговор в пользу Елизаветы уже существует. Сейчас в Париже проживает даже посол от этих заговорщиков – эмигрант Семен Нарышкин, но связи с Россией он давно потерял. Очевидно, сторонники Елизаветы также уповали на обиды древней фамилии Долгоруких, а карта эта

оказалась бита! Долгорукие арестованы и скоро будут казнены… Момент для вашего въезда в Петербург сейчас весьма удобный: наш посол в Турции, маркиз де Вильнев, получил согласие Анны Иоанновны распоряжаться заключением мира с турками.

Флери отворил двери в соседний кабинет. Там высился стол, заваленный грудами досье и фолиантов. Рука кардинала, сухонькая от ветхости, парила над связками бумаг, как над Этнами и Везувиями многих русских неурядиц.

– Здесь русские финансы, – объяснял он маркизу, – сведения о флоте и армии… о сторонниках Елизаветы… о Бироне и его прошлом… о родственниках императрицы. Вот тут лежат последние сведения о новом заговоре, который возглавляет министр Волынский, но вы, – предупредил Флери, – держитесь человека этого подальше. Тайный розыск в России доведен до совершенства, посол же короля должен остаться вне всяких подозрений… Садитесь и читайте!

– Что читать?

– Вот это все.

– Но здесь целая библиотека. Нужны годы…

– Я даю вам для прочтения считанные дни.

– Милосердия! Ваша эминенция, смилуйтесь.

– Садитесь и читайте. Как можно скорее. Ибо положение австрийской армии под Белградом скверно, и теперь – вот теперь-то! – воскликнул Флери. – Франция должна поспешить, чтобы вы въехали в Петербург как можно скорее. Мне известно, дорогой маркиз, какой вы замечательный повеса. А потому, – закончил кардинал, уходя, – вы уж не сердитесь, если я стану запирать вас на ключ…

Шетарди открывал по ночам окно, спускался по веревке на улицу, успевал за ночь навестить своих четырех любовниц, а утром кардинал заставал его погруженным в изучение русских бумаг.

– Какой вы умница, маркиз! Похвально ваше прилежанье… Начиная с Генриха Четвертого до сего дня, – говорил Флери, – дипломатия Франции не совершила ни одной крупной ошибки в шахматной игре политики. Я уже стою одною ногой в могиле и расцениваю вашу миссию в Россию как завершающий мазок кистью на великолепном полотне моего служения королю!

…

Пожары Белграда, многострадальной сербской столицы, освещали темную воду Савы багровым лаком; граф Нейперг на лодке переплыл реку и сдался на милость туркам. Посла австрийского забросили, как тряпку, в шатер великого визиря эль-Хаджи-Мохамеда…

Мудрый аскет с руками базарного фокусника, великий визирь даже не глянул на цесарца. Перед ним давно бурлил на огне кофейник. Две серые кошки играли посреди шатра туфлею с ноги визиря. Другая нога эль-Хаджи была обтянута белым вязаным чулком.

– Меня прислал, – заговорил Нейперг, – сам император.

Эль-Хаджи продолжал молча курить. Краем уха визирь слушал, как за стенкою шатра бунтуют янычары, снова требуя лестниц для штурма белградской твердыни. Визирь наслаждался успехом, следя за грациозною игрой своих любимых кошек.

– Мы вынуждены признать свое поражение, – сказал Нейперг.

И тогда визирь ласково отнял туфлю у кошек, лениво нацепил ее на босую ногу. Он не встал, а лишь приподнялся с ковров:

– Мы не приучены, чтобы наш позвоночник страдал на стульях, этих орудиях европейской пытки, а потому, посол (если вы посол?), можете сесть возле меня на землю…

Нейперг сел. Янычары выли ужасно. Трещали пожары.

– Вы дрожите? – спросил эль-Хаджи. – Я понимаю: ночи в Сербии холодные, и даже пожар Белграда не может согреть вас…

Нейперг предложил туркам Сербию и Малую Валахию.

Визирь зевнул:

– Мало!

Кошки, лишась туфли, играли со своими хвостами.

– Мы согласны отказаться и от Орсовы.

– Мало! – отвечал эль-Хаджи.

Кошки легли на животы; метеля по коврам пушистыми хвостами, они теперь издалека подкрадывались одна к другой.

– Тогда мы уступаем вам и… Белград!

Кошки прыгнули и, сцепясь в комок когтей и шерсти, с довольным визгом покатились в угол шатра. Эль-Хаджи, пронаблюдав за ними, рассмеялся. Нейперг повторил униженно, что Вена сдаст Белград, но прежде разрушит все укрепления и уберет пушки. Великий визирь хлопнул в ладоши. Кошки притихли. Явился в шатер начальник турецких обозов, и эль-Хаджи велел ему выдать лестницы для штурма (которых у турок ни одной не было).

– Я устал от янычарских воплей… Не мучай более моих воинов ожиданием. – После чего визирь схватил кошек и сунул их к себе за пазуху, нежно лаская; две ушастые головы с желтыми глазами внимательно следили за Нейпергом. – Мы, – сказал эль-Хаджи, – не желаем получать от вас скорлупу от ореха. Мы, турки, желаем сегодня скушать ядро ореха!

Прослышав о лестницах, Нейперг заплакал:

– Мне отрубят голову… в Вене.

Шатер раскинулся, и к ним вошел маркиз де Вильнев, посол французский. Он нежно обнял рыдающего посла цесарского.

– Мой друг, – сказал он с чувством, – я не советую вам долго спорить, ибо я видел сейчас, как янычары потащили куда-то лестницы… Великий визирь, – обратился он к эль-Хаджи, – вы можете звать писцов: Австрия уже выбита из войны!

Император Карл VI в один и тот же день принял сразу двух курьеров с пакетами. Сначала вскрыл первый пакет – от Миниха, который сообщал Вене, что Хотин взят, Молдавия ждет русскую армию, ворота ясские раскрыты нараспашку, а русские авангарды уже стоят на Дунае… Карл VI вскрыл второй пакет и закричал:

– Как мы смешны! Как мы глупы! Графа Нейперга, едва лишь он появится в Вене, сразу тащить на плаху и голову ему рубить…

Мария Терезия подняла с пола уроненное письмо Нейперга.

– Ваше величество, но это мир! – сказала она отцу.

– Это презренный мир, каких еще не знала Вена. И я, старый император, вынужден принять его, ибо он гарантирован стараниями дипломатии французской… Какой позор! Как я унижен!

Верно, что позор. Нейперг так быстро состряпал мир для Марии Терезии, что даже не сличил тексты, писанные на трех языках. Турецкий отличался от латинского, а латинский не был похож на итальянский… Мария Терезия утешала папеньку:

– Стоит ли так огорчать свое величество? Французы пекут в Белграде пироги не только для нас. Ого! Мы еще вволю посмеемся, когда подгорит корка на пирогах российских…

…

Шетарди объявил о своей готовности к отъезду. На прощание кардинал Флери сделал ему подарок:

– Возьмите это непросыхающее перо, которое парижские остряки стали называть «вечным». Имейте его при себе постоянно. Перо может понадобиться вам, чтобы подписать союз наш с Елизаветой, который будет неожиданным даже для нее.

Шетарди взмахнул перед кардиналом шляпой:

– Ваша эминенция, я вступлю в Россию рыкающим львом.

– Но, – отвечал Флери, – вы не покиньте России трусливой лисой, спасающей от охотников свою прекрасную шубу.

– Ха-ха-ха-ха, – засмеялся Шетарди.

– Хи-хи, – прозвучал осторожный смешок кардинала.

Лошади поданы. Загремели рога почтальонов, и Шетарди тронулся в путь для переворота в России. Французская дипломатия и в самом деле была в ту пору самой безошибочной.

Глава десятая

Анна Иоанновна опять приболела. Врачам не ахти как доверяя, императрица доверилась одному палачу, который в пытках отлично познал все слабые места в человеке. Болезни палач угадывал «по жилам и по воде» (иначе – щупал пульс и мочу смотрел). Взялся он лечить государыню глазами раков речных, которых вылавливал по ночам с лучиною у берегов речек столичных – Мойки да Фонтанки («в раке в голове два камешка белые есть, и теи камешки истерти меленько и дати немочному»).

Реляции из армии, на Дунай вступившей, были бодры.

– Бог-то велик! – сказала царица Бужениновой, среди подушек на постели посиживая. – Недаром я молюсь ему почасту… Эвон дела-то наши каково хороши! Теперь, что ни скажи мы агарянам, они любой мир с нами подпишут.

Шуты возились возле постели, придуриваясь. Князь Голицын-Квасник мычал невразумительно. Иногда, в прояснение придя, становился разумен он и доходчив. Но больше идиотствовал, и было не понять – то ли дурак, то ли притворяется дураком. Лейб-подъедала Авдотья Буженинова, до пупа обвешенная ворохами бус цветных, скрестив под собой ноги в шальварах, держала попугая на пальце.

– Матка, – просила она царицу, – озамужь ты меня.

– Не смеши ты нас, баба глупая… Где я мужа сыщу на таку уродину? Уймись, бесстыдница! Подай-ка вот лучше моську.

Буженинова вскинула на постель к царице моську, попугай взлетел с руки калмычки, стал биться в стекла окон дворцовых. Квасник распахнул рамы оконные и птицу из неволи выпустил.

– Ах ты… враг! – закричала Анна Иоанновна. – Ты зачем же это птицу упустил? Твоя она, што ли? Ты разве платил за нее?

Моська, трясясь от ярости, облаивала курьера, застывшего в дверях покоев царицы и малость обалдевшего от увиденной им картины. Анна Иоанновна велела ему подойти к постели.

– Откуда ты, добрый молодец? – спросила ласково.

– Из Вены, матушка. Не спал, не ел – гнал лошадей.

– Давно ль выехал?

– За восемь ден отмахал…

Курьера повели в баню – мыть, а потом на кухни – кормить. Шутов из покоев выгнали. Анна Иоанновна насунула на ноги туфли, велела огня зажечь. Камер-

лакеи затеплили двенадцать свечей, придвинули шандалы к столику императрицы. Карл VI писал, что он со слезами на глазах уведомляет ея величество о заключении его министерством невыгодного мира с великим визирем и об уступке Белграда, но что тем не менее необходимо сдержать слово, данное туркам… Анна Иоанновна кулаком по столу треснула, подпрыгнула песочница с чернильницей. Едва не плача, воскликнула:

– Да что ж они натворили там, бесстыжие? Не вольны они срамные прелиминарии писать, коли мы – главный противник Турции, мы эту войнищу от начала и до конца делали…

Скособочив рот, она завыла, как ревут деревенские бабы. Немцы немцами, но честь России она тоже не забывала.

– Гей, гей, гей! Остермана сюда…

Но предстал не Остерман, а Иогашка Эйхлер:

– Его сиятельства вице-канцлеры больны сильно, совсем ног лишились, явиться к вашему величеству не способны сей день.

– Да он еще меня переживет, знаю я хвори его! Чтоб был здесь, не то велю гайдукам силком доставить… Ступай с этим!

Остерман прибыл, такой бедняжка. Даже голову на грудь свесил. Восковые пальцы российского заправилы безжизненно покоились на коленях. Анна Иоанновна широким шагом подошла к нему и козырек сорвала с лица его. Прямо к носу ему прелиминарии венские подсунула тряся и спрашивала:

– Это кто изгадил нашу российскую милость? Твои друзья из Вены? Да где это видано, чтобы страну, которая столько кровищи пролила, теперь перед всей Европой за чужие грехи бесчестили? Вот… гляди! Это плоды политик твоих… не воротись, гляди!

Двенадцать свечей горели высоким трепетным пламенем. Остерман, козырька лишившись, глаза ладонями закрыл. Так, словно глазам его больно было от света яркого. А между пальцев взором настороженным продолжал за

императрицей следить.

– Ваше величество, – невозмутимо отвечал он, – за Вену не поручусь, но зато всегда могу за вас поручиться… Вы же сами доверили Версалю вести переговоры о мире. И мир, как бы он ни был унизителен, вам предстоит за благо божие принять. Ибо соседний враг – Швеция – силен кораблями многопушечными, и вскоре следует нападения ждать… Я всегда был врагом Франции и всегда стоял за альянс с Веною. Спешу доложить вашему величеству, что флот короля Франции уже входит в море Балтийское. А… зачем?

Анна Иоанновна бессильно поникла:

– На что хоть надеяться-то нам?

– На благоразумие маркиза де Вильнева.

– Да благоразумие-то его не русское, чай, а версальское.

Лицо Остермана отразило молитвенное блаженство:

– Всевышний не оставит государыню, столь великую!

Императрица заплакала:

– Плачу, а надобно бы радость изображать… Миних-то армию далеко увел, гляди, как бы сгоряча в Турцию не въехал, потом его, упрямого, оттуда клещами будет не вытянуть.

– Миниха надо остановить, – сказал Остерман. – Французы теперь следить за нашей армией станут, чтобы мы далеко не ушли.

– Ну, дожили мы, Андрей Иваныч… ай, ай!

И все двенадцать свечей – одну за другой – Анна Иоанновна загасила пальцами, даже не ощутив от волнения боли ожогов.

…

Казалось, что дорога на Царьград чрез земли славянские, земли зеленые, открыта… Армия русская больше не встречала сопротивления противника, еще вчера столь опасного. Прут к осени обмелел, гусары и драгуны шли вброд, разводя теплые воды реки грудями лошадиными. Для пехоты навели тет-де-поны, и армия маршировала, отчаянно галдя, встревожена той радостью, какую испытать дано только армии побеждающей… Легионы Вели-паши бежали за Дунай и дальше, грабя и убивая встречных, чтобы возместить багаж, утраченный при Ставучанах и Хотине! Шайки янычарские скакали на лошадях в поисках самого Вели-паши, дабы отрубить ему голову за поражение в битве с русскими…

Славянское солнце стояло в этом году высоко!

За маршами армий российских с упованием следили приневоленные народы балканские и карпатские. Чаяли они спасения от рабства через штык русский. По владениям Габсбургов и султана турецкого поднимались на борьбу народы и племена славянские, готовые соединить судьбу свою с судьбою России!

Прекрасны были долы молдаванские, буйно отцветала лоза виноградная, золотым руном вспыхивали по холмам ягнята бессарабские… Миних внимательно осмотрелся вокруг себя.

– Какая дивная землица! – сказал он пастору Мартенсу. – Она ничуть не хуже Лифляндии с ее жесткой репой…

А сам думал: «Киевское княжение вряд ли уступят мне, а вот царем молдаванским я бы побыл с великим удовольствием». Лазутчики донесли фельдмаршалу, что вассал турецкий Григорий Гика бежал из Ясс вослед туркам. Молдавия осталась без господаря.

Миних живо повернулся в седле к Мартенсу:

– Вы слышали, мой падре? Место господаря молдаванского свободно… Разве я не гожусь для престола в Яссах?

– Престол займет князь Антиох Кантемир.

– Куда ему, мизераблю такому… Сковырну!

Нетерпение его усилилось, и в кольце конвоя казачьего Миних поскакал на Яссы впереди армии. Он истерзал лошадь шпорами. А на всем пути армии, до самых Ясс, толпы селян встречали воинство русское, просили подданства российского. «Молдавские статы, – отписывал Миних в столицу, – оказывали немалую радость, видя такую славную христианскую армию, которая, как они говорили, к их избавлению пришла…» Ясские бояре в высоких барашковых шапках, безмолвные жены их, в шали закутанные, земно кланялись войскам российским. Буджайская орда бежала в степи очаковские, ничто теперь отныне покоя молдаван не тревожило. Они кричали от чистого сердца:

– Хотим с Россией – на веки веков!

Обедню торжественную служил сам митрополит. Звонили колокола храмов и били пушки цитадельные, когда «статы» молдаванские подписали договор о вступлении народа Молдавии в подданство российское. Миних глядел на Яссы, как на будущую резиденцию свою. Велел он планы с города снимать, пионерам фольварки возводить, на верках уже ставили пушки. Погожие дни прозрачно текли над холмами зелеными. Тонкие паутины осени плыли в воздухе, запутываясь в садах, отяжеленных плодоносяще, и в волосах красивой молдаванки, что держала в зубах яркую розу…

– Виват! – орали солдаты на улицах, и звонко проливалось на землю рубиновое вино, то сладкое, то кислое, пустели кувшины.

Офицеры – в ликовании успеха – рассуждали запальчиво:

– Ныне мы ногою твердой на Дунае и на Днестре уже встали. Будет тута для отечества нашего Рейн русский с винами шипучими… А даст бог, и в кампанью следующую развернем штандарты гвардии на столицу султанскую… Виват!

Последние петухи, отходя к ночи, кричали над Яссами. Возле криниц с водою вкусною скрипели «журавли» и стучали бадьи на коромыслах. Теплый вечер опускался на края благодатные, когда послышался мягкий топот копыт, тупо колотящих горячую пыль. Напротив хаты Миниха из седла почти выпал курьер

петербургский, измученный долгой скачкой.

– Пакет… Миниху… от ея величества!

Фельдмаршал слушал чтение бумаг, сводя лоб в морщины, и вдруг лицо его стало серым, как гипс.

– Держите маршала! – выкрикнул пастор.

Манштейн, мощный геркулес, подхватил было Миниха, но не смог удержать его грузного тела. Фельдмаршал плашмя рухнул на пол мазанки молдаванской. Кровь отхлынула от его лица.

Не сразу он пришел в себя и встал, произнеся:

– Манштейн, читай уж до конца… один черт!

Манштейн прочел: австрийцы сами по себе, Россию даже не предупредив, заключили мир с турками. Остерман указывал Миниху остановить продвижение армии… В хату ставки набились генералы, рвали из рук Манштейна письма, читали, бранились:

– Позора мира такого нам не снести… Будь прокляты цесарцы! Неужто мы теперь уйдем из Молдавии?

Честолюбивые планы Миниха порушились: не бывать ему господарем молдаванским. Уронив голову на стол, фельдмаршал рыдал, как дитя, которого в конце скучного обеда обделили сладким блюдом. Парик свалился с головы Миниха, блестела яркая лысина, а злые турецкие блохи прыгали по столу средь чашек, графинов, стаканчиков и тарелок с объедками.

Все молчали. Но вот Миних встал и вытер слезы:

– Бить в барабаны и литавры! Объявляем поход. Следуем дальше – на Царьград! Господа генералитет, поднимайте армию…

Армию сорвали с бивуаков – двинули на Буджак, на Бендеры, завоевывая край, утверждаясь в нем. Миних депешировал в Вену:

«…нам ненавистен позорный мир. Со стороны русских берут крепости, со стороны имперцев их срывают. Русские завоевывают княжества, а имперцы отдают неприятелю целые королевства. Русские доводят неприятеля до крайности, а имперцы уступают ему все, чего он захочет и что может умножить его спесь… Где же, я вас спрашиваю, этот Священный Союз?»

Манштейн прервал его писание, доложив:

– Экселенц! К вам прибыл атташе французский барон де Тотт, чтобы проследить за исполнением договора о мире.

– Пусть его покормят. Французу я всегда рад…

Миних схватил перо, в ярости закончил письмо Карлу VI:

«Если не захотят даровать нам мир на выгодных условиях и вознаградить нас за Хотин и Молдавию, то я с помощью божией буду продолжать враждебные действия!»

Но атташе Франции за тем и прибыл в ставку русскую, чтобы действия военные пресечь. И проследить за отводом русской могучей армии – прочь, назад, за Дунай, к рубежам прежним… Повеяло ветром конъюнктур новых, сулящих новые выгоды, и Миних, винца подвыпив, увел французского посла далеко в степь.

– Когда увидите кардинала Флери, – сказал фельдмаршал без свидетелей, – передайте ему, что Миних всегда считал себя французом, лишь состоящим на службе короны российской…

Анна Даниловна Трубецкая вскоре принесла Миниху сына – Алексея. Осень стучалась дождями в молдаванские хаты. Пожухли травы на полянах, через луга пойменные шли по домам от холодных ручьев жирные гуси… Русские генералы, оскорбленные в своих жертвах, были с Минихом солидарны, и никакими силами

их из Молдавии было не вывести. Приказ царицы не исполнялся: русские солдаты устраивались зимовать в деревнях молдаванских.

Крестьяне просили их жалобно:

– Вы уж не оставьте нас опять в неволе у турчина.

– Мы люди маленькие, – отвечали солдаты. – Мы бы вас и не оставили, нам тут с вами хорошо бы… Да как министры там?

Молдавия доцвела в печали осени поздней. Уходить было стыдно. Но уйти пришлось. На околицах деревень русских провожали плачущие молдаване. Последний раз потчевали солдат вином и брынзой.

– Прощайте, люди добрые! Даст бог, еще возвратимся…

– Придите, – отвечали молдаване. – Хоть к сынам нашим!

По улицам ясским ехал юный музыкант на коне. Все в орлах, в бахроме и позолоте, висли по бокам его лошади гулкие полковые литавры. Конь ступал под ездоком – в грохоте, и громадные котлы российских литавр мощно гудели над покинутою страной, словно раскаты громов пророческих… Вот это было страшно!

…

Из войны русско-турецкой победительницей вышла… Франция.

Белградский мир стал для России едва ли не унизительней мира Прутского при Петре I. Но тогда унижение можно было оправдать, ибо армия русская попалась в капкан армиям турецким вместе с императором и его женою. А сейчас подлый мир Австрии ударил ее ножом в спину на пути к новым викториям, и вместо лавров России достались чужие плевки.

Маркиз де Вильнев – от лица России – разбазаривал туркам завоевания солдат русских. Хотин, Яссы, Кинбурн, Очаков – все отдал! Возобновлять строительство города на Таган-Роге русские не имели права. От источника реки Конские Воды, впадавшей в Днепр, была проведена линия по карте до реки Берды, впадавшей в море Азовское, и эта линия стала новым рубежом России. По сути дела, Россия обрела от побед лишь небольшой кусок степей безжизненных, которые даром давай – не надо, ибо там, в степях этих, бродили разбойные таборы орды ногайской.

– Россия, – говорил де Вильнев туркам, – все-таки пролила немало крови в войне этой, и она не смирится, если кусок хлеба черствого мы не помажем ей маслицем… Что дадим им?

Турки и слышать более про Азов не хотели, они говорили маркизу: пусть русские забирают его себе, но крепость в Азове срыть надо заподлицо со степью, чтобы там пустыня осталась.

– Азов, – доказывали турки маркизу, – стал за последние годы развратной куртизанкой, которая столь много раз меняла поклонников, что более недостойна иметь мужа верного…

Россия, согласно договору, обязана была свой флот разломать и никогда более не плавать в морях Черном и Азовском – даже под торговым флагом. Купцы русские имели право перевозить товары свои только на кораблях турецких. Блистательная Порта соглашалась пропускать через свои пределы беспрепятственно паломников российских, идущих в Иерусалим на поклонение.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Среди них и знаменитый бриллиант «Кохинур» («Гора света»), попавший в британскую корону. Алмазный фонд располагает сейчас двумя крупными бриллиантами, вывезенными Надиром из Индии: «Орловым», который входил в украшение скипетра, и камнем «Надир», которым Персия расплатилась с царизмом за убийство в Тегеране поэта и дипломата А.С. Грибоедова.

Купить: https://tellnovel.com/ru/pikul-_valentin/slovo-i-delo-kniga-vtoraya-moi-lyubeznye-konfidenty-tom-4

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить